



Павел ПАРАМОНОВ

г. Суздаль

Журнальный вариант

18

«Пять сознательных домов города заслужили честь иметь на своих стенах почётные таблички: «Здесь живут безбожники!» В этом факте большая заслуга нашей ячейки. Долгое время члены ячейки проводили разъяснительную работу с хозяевами этих домов. Доказывали человеконенавистническую сущность религии. В результате агитационной пропаганды жители сдали личные иконы, кресты, лампадки, церковные книжки и прочий реакционный хлам в распоряжение нашей ячейки. По мере накопления эта рухлядь будет торжественно и прилюдно сожжена, а металлическая часть попадёт в перековку для нужд народного хозяйства.

Помните, товарищи, уничтожая религиозные принадлежности, вы укрепляете нашу народную власть!

И ещё о работе нашей ячейки.

Городскому музею — звание безбожного! С таким требованием обратилась наша ячейка к заведующему музеем тов. Плотникову.

Он отверг наше разумное предложение, сказав, что церкви — строения культовые и под иные потребности не подходят.

Мы спрашиваем вас, тов. Плотников, вы за религию или против? Где ваша классовая сущность? И завхоз музея тов. Абрамов имеет тоже неясный облик. Надо присмотреться к вам, музейные служители!»

(Н. Савостиков. Газета «Колхозный клич»)

«Поправка: В газете от 10 июня с.г. была помещена заметка о том, что в колхозе имени товарища Бебеля найдена кадка с золотом. Просим считать это ошибкой. Колхозник тов. Ирнин обманул нашего корреспондента. Ирнин и корреспондент наказаны.»

Окончание. Начало в № 7-8 2020.

Ячейка готовилась к Пасхе. Заседали каждый день. Савостиков воображал неприимых врагов советской власти и яростными словами крушил их. Распаляясь, члены ячейки выдвигали самые неожиданные идеи.

Сын ветеринарного врача Гоня Нейманов по прозвищу Абрам, с лицом, похожим на лицо вождя революции товарища Свердлова, требовал написать категорическое письмо товарищу Емельяну Ярославскому с просьбой прислать им вагон пироксилиновых шашек для сокрушения всех тридцати церквей в городе.

— Чего-чего, а динамиту у советской власти много! — говорил он.

На минуту эта идея утихомирила крикунов. Мысль как-то с перекосом блуждала в ошалевших от свободы слов и выражений головах, но, не укоренившись, выпорхнула в раскрытое окно второго этажа, к неудовольствию Гони Нейманова.

Сын скотозаготовителя и матерщинник Генка Валеулин по прозвищу Валенок, много раз обещавший комсомольским словом не ругаться матом, но в возбуждении почти не помнящий нормальных слов, блестя раскосыми глазами, призывал:

— Подломим... преподобную... в грудь... чтоб религия... вот...

Две девушки из трёх возмущённо фыркали. Они ещё не до конца прониклись идеями новой жизни и возмущались, глядя друг на друга. Третья — идейная, Наталья Семёновна из школьного отдела волкома комсомола, девушка шестнадцати лет с угорьками полового созревания на красивом пухлом лице, — мотнув за спину тяжёлую косу, строгим оканьем внушила Генке:

— Валеулин, мы снова поставим вопрос!

На что тот с лёту категорически отпихнулся:

— Вопрос... всегда будет стоять!

Тут уж возмутились все. Савостиков что-то записал в тетрадку и обнародовал мысль о том, что он напишет статью в газету о мате и матерщинниках и дурным примером в статье будет Валеулин.

Столь тяжкого наказания Генка не ожидал. От избытка чувств у него даже ослезились глаза.

— Пропишешь — уйду из ячейки! — пригрозил он.

— Да что с ним говорить! Мат раньше него родился! — крикнул Василий Дыбин, самый малословный член ячейки, написавший про отца и мать, что они с семнадцатого года в Бога отказались верить.

Тем самым он обманул своих товарищей. В Бога отец и мать по-прежнему верили, соблюдали праздники и посты, каждый день молились на иконы в красном углу. Дыбин мучился от такого обмана: в маленьком городке всё узнается. Усугубляла мрачность его жизни тайная любовь к Наталье Семёновне. Как это соотносить с классовой борьбой, в которую он ввязался, Василий Дыбин не знал. Он читал товарищей Маркса, Ленина, мудрого наставника молодежи Емельяна Ярославского, других великих борцов и преобразователей жизни. Они учили бороться и побеждать, выявлять и бесстрашно искоренять. А вот как с родителями быть? И про любовь, пусть классовую, у них ничего не написано. Дыбин, конечно же, верил им, но ведь отец с матерью, что ни говори, ближе этих мудрецов. Родители у него добрые, работающие. Как же он на них ссыльное письмо напишет? И тут же Василий корил себя за то, что он такой слабый. Вон Савостиков написал всю правду, и родителей отправили на «перековку», а он стал рабкором и возглавил ячейку...

Эх, Наталья Семёновна! Как же мечтает о тебе Василий! Сосёт душу тайная страсть, горло сушит, щёки огнём, словно от иконного костра, опалает. Девка на выданье, а как посватать? Они хоть и в одних сословиях, но, знает Василий, не отдадут ему по честному порядку девку, потому как Наталья из семьи зажиточной и жениха ей подыщут по равному имуществу. Сосчитают кумушки всё до последней курицы, до клочка земли в огороде, до куска миткаля из заветного сундука, помнут и потреплют, попробуют на крепость, вкус и плодovitость, определят сроки лёжки и носки, назовут место покупки, что тоже имеет значение: с рук или у купца в лавке. И всё заглазно, по памяти, но с большой дотошной осведомленностью. Сопоставят и вынесут на толковище окончательный приговор — быть сему пареньку женихом или не дотянул он до столь высокой чести — может быть, количеством подушек на кроватях, неухоженным огородом, сдохшей в прошлом году от не-

известной болезни коровой. Или в родословной, выстроив шеренгу до седьмого колена, со всей боковой природной, отыскали горького пьяницу или умершего от дурной болезни. А может, кто нашёлся в родне с мозговым завихрением, такое тоже относилось к тяжкой наследственной немочи! Потому, паренёк, отступись! Не видать тебе руки нашей непорочной девы, не сорвать тебе ночную розу! Поищи других с простинкой да с изъянчиком, а мы нового желателя на просвет выведем.

Попробуй уничтожь этот порядок! Его никакими революциями не изведёшь!

Надеялся Василий через ячейку подобраться к Наталье Семёновне. Если он имуществом недотягивает, зато первостепенным делом занимается на фронте борьбы с религией. Здесь, в Дольске, не все эту почётность понимают, зато в больших городах, в столице люди башковитые сидят, всю населённость российскую проглядывают и поправки в жизнь вносят. Они на десятки лет вперёд распорядок жизни знают, потому что сами его придумали.

Конечно, Василия по-блошиному покусывали восхищённые раздумья о сидящих «вверху» умных людях и другие назойливые мыслишки. Ну, хотя бы о том, зачем народ по сортам разбивать и чистить, словно крупу: хозяйка рассыплет её на столе и начнёт проворными пальцами выискивать камушки, чёрные катышки мышинового помёта, разную мелкоползущую живность, прочие инородные присыпы. Но то ведь зерно! А тут людей к зерну приравнивают и заставляют самих же своей переборкой и пересортицей заниматься.

Но, может быть, он, Василий, не вырос до такого понимания? Мало и невнимательно читает произведения Емельяна Ярославского? В них же всё понятно и доказуемо. По товарищу Ярославскому выходит, что все беды у нас от религии, народ одурманен ею. В каждом номере «Безбожника» ужасные примеры преступлений религиозников и попов. А с другой стороны, если подумать, в городишке и верующих много, и попы ещё есть, а что-то кровавых преступлений не было. Может быть, они там, впереди поджидают, на прямой, всё расширяющейся дороге к мировой революции? Он, Василий, не видит этих вражеских заслонов, а от-

туда, с верховой оглядности, из столицы, как с Преподобенской колокольни, вся столбовая дорога как на ладони.

Эх, Наташка, Наташка! Не по Васиной натуре политика! Это вон Савостикову любо комиссарить. Он дока в этих извилистых вражских ходах. А Василию бы свой дом огоревать, скотиной обвестись, да чтоб Наташка в него хозяйкой вошла. А пока сиди слушай этих горлопанов!

— Даю слово! — опять закричал Валеулин. — Чтоб мне на... провалиться!

— Пусть ругается! — вступился за Валеулина Гоня Нейманов. — Он полезный для нашего дела человек, да и мат тоже оружие в борьбе с религией. Кстати, об этом можно спросить товарища Ярославского. Напишем ему письмо и спросим, кто для будущей жизни больше пригоден: интеллигентный поп или матерящийся безбожник? Я думаю, ответ ясен!

Три девушки перебойно загалдели. На Гоню Нейманова обрушились возмущённые слова:

— Как?! Товарищ Ленин! Товарищ Маркс! Товарищ... поставить вопрос! Личное дело! Большевики не могут!

Всех перекричала, вернее — не перекричала, а пересилила убеждённою Наталья Семёновна. Она отчеканила:

— Мы искореним мат, как и религию, из нашей жизни!

— Это как же ты меня искоренишь?! — закричал уязвлённый Валеулин. — Ишь ты, ангелица нашлась! Да если тебя пощупать, ты, может, и закрестишься или заматеришься! Я не в том смысле, а в другом... Мне понятно, отчего ты хризантему из себя корчишь! У вас в сундуках...

— Прекрати, Валеулин! — вскричал Савостиков. — Это оскорбление личности!

— Он не поддается убеждению, — сказала девушка Надя девушке Соне.

— Ужасно грязный тип, — ответила девушка Соня. — К тому же он... — и зашептала что-то на ухо подруге.

Она словно вдвухала в ухо Наде необычайно горячий воздух, потому что Надя покраснела.

— Ужасно, ужасно, — шептала она, стыдясь и одновременно радуясь новой сплетне про своего товарища.

— Я требую извинений! — кричала Наталья Семёновна. — Я поставлю вопрос на бюро!

— Валеулин, извинись! — кричал и Василий Дыбин. — Извинись, говорю, а то в морду получишь!

— Да извини, извини, Наталья Семёновна! Жалко, что ли, сто раз извини! — откинулся Валеулин, а про себя всё-таки обматерил её в очередной раз: «Подумаешь, ... с паперти!»

— К делу, товарищи, к делу! — призывал Савостиков, вправляя заседание в нужное русло.

Все быстро успокоились. Подобные идейные схватки происходили часто, и горячность от побочных вопросов была недолгой.

— Надо обсудить и решить, как мы отметим Пасху. Праздник для религиозников большой, поэтому мы должны сделать ещё больший антирелигиозник! Что мы имеем... — поднял карандаш Савостиков. — Митинг, само собой, — раз! Подвода икон на костёр — два. Ещё у меня вот намечено, — он заглянул в тетрадь, — сжечь чучело попа. Кто за чучело отвечает?

— Сделаю, сделаю, — ответил Валеулин, в прошлое заседание назначенный ответственным за чучело. — Такого попца изладим — ахнете!

— Лучше всего колокольню уронить, — снова высказал занозой сидевшую мысль Гоня Нейманов. — Сразу весь праздник придавит...

— Достанем пироксилина — уроним! — пообещал Савостиков. — А сейчас надо говорить о том, что наверняка сделаем. Я подготовил письмо от имени трудящихся сапоговаляльной артели на снос Козьмодемьянской церкви — она на видном месте, внимание привлекает. Поручаю Василию Дыбину сходить в артель и собрать подписи. В артели, кстати, три наших безбожника работают.

Дыбин кивком головы принял поручение.

— Я отреченца подготовлю к митингу, — сказал Гоня Нейманов. — А в церкви теперь замужем хозяйничает, он не даёт ничего ломать.

— Что значит «не даёт»? — возмутился Савостиков. — Мы припишем ему религиозную пропаганду — и отправят его к своему предшественнику...

— У него и книги церковные, — добавил Гоня. — Вот бы костерок был!

— Не всё сразу, — вмешался Василий Дыбин. — Впереди праздников много! Подумай, что потом будем жечь!

Он встречался с Плотниковым, и тот ему

приглянулся: не крикун, работает не суетясь. А эти, ясно, под него копать начнут. Савостиков сотворит «письма трудящихся». Приём старый, проверенный, надёжный. Не с первой, так со второй, третьей «просьбы трудящихся» уберут и этого заведующего, как убрали предыдущего.

— Это верно, — согласился Савостиков. — Одна акция, но чтоб ударило, устало! Внятно чтоб, по глазам и по всему! — Савостиков сжал в кулаке карандаш, чуть скривил голову к плечу, сощурил глаза, растянул губы в загадочной полуулыбочке и стал, как ему казалось, — репетировал дома перед зеркалом! — похожим на товарища Емельяна Ярославского, которого он видел в Москве на съёте членов общества друзей журнала «Безбожник». Николай завершил заседание ячейки опять же словами Ярославского: — Сделайте одно-два антирелигиозных дела, но сделайте до конца. Не разбрасывайтесь сразу на десятки дел. Помните: при быстрой прополке корни остаются!

На том и порешили.

Валеулин, Дыбин и Нейманов пошли в музей за одеждой священника.

Дежурила в зале купеческого быта тётя Маша. Посетителей не было, и она уласкалась в тихий сон на мягком резном стуле, сиденье которого протирал когда-то тощим задом купец первой гильдии Фёдор Блохин. Тётя Маша поставила стул в солнечную лужицу возле решетчатого окна и пригелась до задрёмы.

Дыбин защемил жердиной шею входившему в силу поросёнку тётя Маши. От визга сорвалась с монастырских вязов осыпистая стая галок. Гортанный грай грянулся на урезанный серыми стенами двор.

Родной поросёный голос тётя Маша, пожалуй, отличила бы из целого поросёного стада. Сердце ёкнуло от дурной мысли, и она, забыв про купеческий быт и незакрытую дверь в зал, засуетилась на зов нагулистого плосколобого бодрячка, видно, попавшего в беду.

Валеулин с Неймановым, уже минут десять прижимавшие дыхание за дубовым купеческим буфетом того же Блохина, только и ждали этой минуты. Они мигом ограбили деревянное раскрестье, любовно обструганное и сколоченное Аристархом и одетое в парадную

ризу и шапку архимандрита. Одевание скомкали в мешок. Валеулин заметался глазами по музейной комнате, углядел чернотканую одежду монахини-схимницы и, бесстыдно задрав подол схимы, сдёрнул с деревянной основы. Сунули в мешок латунный потир и водосвятную чашу.

Нейманов выглянул за дверь — никого! Махнул рукой Валеулину, и они побежали к боковому выходу из музея.

Дыбин увидел выбегавшую из двери тётю Машу, отпустил кол, зажимавший шею поросёнку, и спрятался за сарай. Тётя Маша его не заметила...

В конце лета сорок первого Валеулин, Дыбин и Нейманов ушли на фронт. Савостикова, как особо ценного кадра, на фронт не послали, — дали бронь. Он воодушевлял на трудовые подвиги тыловых горожан, следил за настроением людей, выявлял уклонистов и дезертиров, если таковые обнаруживались, регулярно писал отчёты «куда следует». За год до начала войны Савостиков сочетался браком с Натальей Семёновной.

Василий Дыбин не был на комсомольской свадьбе. Он учился на рабфаке. Тоска по Наталье как-то сама собой притупилась. Приезжая домой в свободное от учёбы время, Дыбин старался не встречаться с товарищами по безбужной ячейке — просил родителей не говорить о его приезде в городок.

В начале войны его, только зачисленного в институт, послали на курсы, и после успешного завершения учебы младший лейтенант Василий Дыбин был отправлен на фронт. Прошёл всю войну от Курска до Берлина. Был дважды ранен. Вернулся в Дольск капитаном с орденами и медалями на парадном мундире.

Рядовой Валеулин пропал без вести под Сталинградом.

Авиационный техник Нейманов в первом же налёте «юнкерсов» на прифронтовой аэродром, куда он был направлен после ускоренных курсов, сгорел, оплеснутый керосином из разорвавшихся железных бочек, за которыми спрятался, в ужасе забыв все инструкции.

...Фоку больно пнули в спину.

— Нуткоть, чревоещатель, выходи на очитку! Будем нечисть из утробы изгонять!

Два приказных из съезжей стояли над ним. Лёгкие топорики заткнуты сзади за кушаки. Их дурашливая весёлость неожиданно передалась и ему. Фока вскочил было на ноги, но тут же подломился на правую и грузно упал на бок. Перебитая нога горела, словно в огне, он её почти не чувствовал.

— Ишь, как кобель с блуда! — так же задорно сказал младший приказной.

— Волоком его, мобыть? — недовольно молвил старший и — к Фоке: — Ну, горемыка, по стенке пластай наверх, а мы пособим!

Кружилась голова. Фока встал на колени и, упираясь ладонями в мокрую стену, начал медленно подниматься. Ногти, не скусанные из-за выбитых зубов, по-звериному загнулись. Фока втыкал ногти в рыхлый слоистый кирпич, из-под ладоней сыпалась липкая красная крошка, а когда выпрямился, вдруг закричал утренним ошарашенным кочетом:

— Ку-ка-ре-ку-у!

Да так по-петушиному правдиво, что те, кто сидел в подклети, вспомнили своих домашних кочетов, а кто спал в душном болезненном забытии — проснулись и первые мгновения ощущали себя в своих избах.

Младший приказной рванулся было к Фоке ударить.

Старший остановил его:

— Пуцай потешится!

— Ослоп дайте за пазуху, обопрусь, доковыляю, — попросил Фока.

— Не дам, — сказал старший. — Ослопом убой учинишь...

Фока, опираясь на стену, двинулся к ступеням из подвала. Попытался встать на первую ступеньку — не смог, сел на лестницу.

— За времям посылать! — крикнули сверху. — Возюки! Вас, что, черти свели?!

— Он калека! — отозвался старший. — С одной ногой остался, а тушистой — с места не двинешь!

— Волоките! Чай, два жеребца! Только харч в говно изводить умеете! — крикнули из светлого квадрата с долькой синего неба.

— Давай уж, — сказал старший Фоке, беря его под плечо. — А ты что охлоню раззявил? — поторопил сотоварища. — Берись!

В два захвата уцепили Фоку и поволокли по лестнице вверх. Бахила слетела с распухшей омертвелой ступни, тянулась на завязке за бьющейся по каменным выступам ногой.

Полдень больно надавил на глаза густым светом. Фока сквозь слёзы и пелену видел размытые пятна людских фигур, слышал голоса, скрип и стук живого пространства. Но больше всего удивил его и осчастливил вольный ход прохватистого ветра, несшего с околлиц и заизгородных лугов запахи полыни, кипрея, ромашки и василька. Фока звериным чутьём различил эти запахи. Они сплелись у него в венок, и он на мгновение выпал из жуткой реальности в луговую вольготность...

Из беспомыслия вынырнул, словно из реки: по волосам и лицу текла вода. Приказной поставил деревянную бадью:

— Опамятовал, сердечный!

Снова ухватили под руки, поволокли к дыбе.

Фока ничего не чувствовал. Застыло в нём удивление и непонимание того, что с ним происходит и зачем всё это творят с ним чужие люди, которым он не делал плохого. Он — Фока-голосник. Он умеет изображать голоса людей и зверей. Он ходит по земле и веселит встречающих за кусок хлеба. Он и сейчас хочет уйти в тот синий просвет между монастырскими стенами...

Просвет стал расширяться, стены монастыря понижаться: Фоку потянули вверх, захлестнув сведенные кисти рук шершавым плоским ремнем. Тяжесть стала наваливаться на плечи, тело грузнело, деревянный настил поплыл из-под здоровой ноги. Фока попытался встать на ступню, но после очередного рывка приказных за верёвку упёрся носком бахилы в доску. Правую ногу он не чувствовал. Она не отрывалась от помоста. Перебитая плоть провисала под собственной тяжестью на обрывках сухожилий и кожи. Острые сколы костей прорезали мягкие, промолоченные, словно лён цепями, мышцы. От нутряной крови ногу распирало, лиловый цвет кожи переходил в чёрный.

В жидкой толпе зевак у дыбы лениво переговаривались. Только что подошедшим объясняли:

— Фоку-голосника казнят...

— Не до смерти, бают?

— Батогами побьют!

— Э-э, кабы кнутом!

— Хрен не слаще редьки...

— Кто спытал, тот ведает! Батогами нутро измешят, а кнутом токмо шкуру попортят. Опосля батогов не жилец!

— Ишь, какой знахарь! Чай, били?

— А ты испражнину кажинный раз нюхаешь, чтобы вспомнать, как она смердит? Не первый день на свете живу...

— Волокут грешного!

Фока слышал голоса, но лица людей плавали в тумане. И когда нога его после очередного вытяга отделилась от помоста, жилистый приказной в лёгком сером опаينه, перекрестившись на крест монастырского собора, поднял из охапки длинных палок гибкий яблоневоый батог с загнутым в трость концом. Попелехтал палку в руке и, приставив батог к ноге, глянул на стоявшего у помоста губного старосту.

Староста, водянистый, бледный, страдающий грудной лихоманкой, почесал кадык под каурой, жёсткой, словно конский хвост, бородой. Поморщившись от боли в суставах, шагнул на край помоста и возгласил высоким пронзительным голосом:

— По велению Государя нашего великого всея Руси самодержца! Всякие гудебные сосуды и скоморощи забавы суть бесовские игрища! Тем паче словеса, собираемые из чужих уст и рекомые за свои! Шут Фока, роду неведомого, ублюдком по земле гонимый, на торжище в ярманку коврятался перед скопом народа не токмо птичьим посвистом и звериным рыком, но и мертвые голоса загробного люда чревом пускал, и ныне живущих в испуг вводил! Посему для изгнания нечисти утробной и назидая в грех влекомых учинить шуту Фоке казнь: батогами в вытяжке тридесять боев поясных!

Приказной взял батог в обе руки, шагнул к Фоке и с выдохом полоснул по широкой грязной спине парня. Вязкий, с густым шлепом удар слегка вознул спину Фоки. Белая полоса, прочертившая спину, через мгновение побагровела.

От охлестнувшей тело невероятной боли Фока вдруг ясными глазами увидел людей перед дыбой: лица молодые и старые, женщины, дети. Чуть выше толпы рассекали небо серые молнии стрижей. Солнце обливало купола храма. Вязы, липы, берёзы, тальник на берегу реки...

После второго удара батоном в глаза хлынула розовая вода, словно зачерпнул Фока в повалуше Увара ковши ягодного кваса в деревянной кадке, а сверху в ряске плесени плавали вымоченные ягоды белой смородины с чёрными зёрнышками в середине...

Последующие удары Фока ощущал как толчки, сначала с болью, потом без неё. После двадцатого удара он уже ничего не чувствовал. Только струилась из уголка кошенного рта алая струйка нутряной крови.

В толпе плакали женщины. Надо бы им уйти, не бередишь душу. Но нет, не таков русский человек, ему до конца надо досмотреть: если пожар, то до пепла; если свадьба, то до драки; если казнь, то до мёртвого тела.

Отвязали верёвки, тянувшие руки, и тёплое тело Фоки тяжело и бескостно подломилось на помост.

20

«Не пейте самогон!»

Все знают, что самогон доводит человека до скотского вида. Известный своими хулиганскими выходками житель города гражданин Марушкин, не напившись досыта, просил зелья у самогонщицы — подслеповатой бабки Агафьи Крыловой, но она не дала самогона, сославшись на поздний час. Тогда гр. Марушкин стал стучать в окно дома гр. Крыловой и показывать ей открытую непотребную заднюю часть своего тела. Из-за низких окон задняя часть была на уровне зрения. Гр. Крылова стыдила сквозь стекло гр. Марушкина, думая, что в окне видится ей облик стучащего пьяницы.

— Дай самогона, а то выстрелю! — куражился Марушкин.

— Как тебе не стыдно с такой-то рожницей людей булгачить! — отвечала ему гр. Крылова.

Но хулиган не унимался. Тогда гр. Крылова, испугавшись, на очередной стук ткнула Марушкину в щелку окна вязальной спицей, до крови поранив ему левую часть заднего облика. Рассвирепев, гр. Марушкин выбил стёкла в окне гр. Крыловой.

Марушкин привлечён к ответственности.

Вот как влияет самогон на человека! Есть в наших магазинах государственная водка, кото-

рая не скотинит людей. Так лучше её пить, и государству — польза».

(Н. Савостиков. Газета «Колхозный клич»)

— Сквозная безбожная бригада имени Клары Цеткин! — так представил Данила себя и своих людей председателю горкомхоза Бакину.

— Ну и что?! — сказал Бакин, вглядываясь в Данилу. — Я, можа, митрополит бывший! Сказал, а ты мне не верь. Ты меня ощути митрополитом, тогда шапку снимай, а пока не-ет, пока ты стой и потей...

Вчера Бакин достал в области пятьдесят листов кровельного железа. От радости дурно спал ночь — всё думал, как сэкономить железо, чтоб залатать неисчислимые дыры на худой горкомхозовской кровле. Железо он получил для покрытия электростанции. Генератор на сто лошадиных сил уже привезли из области, а вот помещение под станцию ещё не определили. Если он найдёт церковь под станцию с хорошей кровлей, то сэкономит железо для других нужд. И сегодня с утра Бакин пребывал в радостном возбуждении, а в радости он любил «повилять мозгами». Это было его выражение, и означало оно этакую словолепку, когда слова стыковались как попало: и на торец, и плашмя, и на угол. В результате собеседник ощущал себя так, словно его настырно подталкивают к высокому обрыву — ещё шаг и... аж мурашки по коже!

Бакин, видя это, распаялся и плёл такое, от чего иные сельчане покрывались потом и начинали креститься, хотя перед этим ругали попов и требовали отдать им церкви на кирпич.

— Крепко я вас прохватил, шельмы! — радовался Бакин, видя смятение в посетителях.

— Полетистай мужик! — славили его просители. — По разуму-то э-эн где! Голову закинь — не увидишь!

— А ведь наш выродец, тутошний. Отец у него горшки крутил. Пьяница был урезный, а дело знал!

Бакин отвалился на спинку стула и с весёлой строгостью глядел на Данилу.

— Думаешь, что ты вершина жизни?! — начал «вилять мозгами» Бакин. — Честный мастер — маслодел? Э-э, нет! Ты, брат, пока туманец. Ты тень бесплотная, и даже по запаху тебя не опре-

делит никто. А я тебя знаю! Я тебя видел и знал сто лет назад! Ты по-научному «жульен», а по-нашему — жулик! Но жулик не простой, а первой гильдии — жулина матёрый! Съел? То-то, брат! Ты передо мной как в бане — голый! Вставай на весы, опусти голову и жди, куда тебя отправят — на мыло или в рай...

Данила напрягся, раздёрнул ресницы так, что фарфорово забелело глазное яблоко. Нескольких секунд он вглядывался в лицо председателя горкомхоза, только слегка подрагивала взлохмаченная бровь, клёкотным голосом спросил:

— Митрополит, значит? — Подскочил к столу, за которым сидел Бакин, размашисто шлёпнул ладонью по выскобленным доскам, отчего чернильница завалилась набок и фиолетовая полоска из неё скользнула на пол. — Затаился! В товарищи пролез! Рясу до возвратной жизни спрятал?! — Данила навис над столом и, скаля узкие зубы, мутным одиноким глазом буравил председателя.

И Бакин ощутил страх. Это он привык сминать людей, а тут просчитался. Он вытянул ладони, покачал головой, сказал уступчиво, миролюбиво:

— Эх, товарищ, шутить разучились, пасмурные стали! Люд ведь разный идёт, я и глушу иногда встреч по рылу, чтобы пену сбить! Присядьте, с чем пожаловали? — вмиг стал услужливым.

На другой день Данила с Бакиным пришли в коммунальный городок, разыскали Плотникова. Он перебирал и сортировал иконы в хранилище. Аристарх натирал обрезком валяного сапога водосвятную чашу.

— Вот они, новые религиозники, — тоном покровителя, снисходительно относящегося к музейным делам, сказал Даниле Бакин. — Вроде бы дело делают!

Данила с улыбкой взял от стены икону, повертел её перед окном, сказал:

— Семнадцатый век. Новгородская школа...

«Снова комиссия», — подумал Плотников.

— Глянь-ко, разбирается! — мельком взглянув на Данилу, сказал Аристарх. — А где твои молодцы?

Данила узнал чайного знакомого и немного сконфузился от неожиданности, а ещё от того,

что не удалось ему поиграть в знатока старины и важного гостя.

Плотников вспомнил слова Аристарха о плохих людях, о главном у них — кривом и настрожиле.

— Какие дела привели к нам? — спросил он Бакина.

— Да вот пришли посмотреть собор, — с игривой вежливостью ответил Бакин. — Может быть, товарищ директор музея покажет нам его? — в голосе Бакина скользнула издёвка.

— Зачем? — резко спросил Плотников, почти наверняка зная, зачем пришли эти люди.

— Ну, вот что! — стал настоящим Бакин. — Нечего мне тут уговариваться перед тобой. Давай ключи, и пошли смотреть. Зачем, говоришь? Электричество будем давать людям! Вместо мракобесия поставим генератор — осветим нашу жизнь! А бумагу я тебе напишу: мол, на нужды народа изымаем, за что и благодарим...

— Без решения комиссии нельзя, — глухо, с подступающей к сердцу тоской от безвыходности и беспомощности сказал Плотников.

— Опять! — выкрикнул готовый к сопротивлению Бакин. — Кому нельзя? Мне? И кто сказал, что нельзя? Ты? А я говорю: можно и нужно! Видишь, как у нас поговаривают! — обратился теперь к Даниле. — Вот с таким человеком и работаем! — И снова — к Плотникову: — Давай, дорогой товарищ Плотников, ключи, и без всяких митингов пошли смотреть это церковное заведение.

— Нет у меня ключей! — сказал Плотников.

Из Бакина хлынули слова, будто дождик из невесты откуда налетевшей шальной тучки.

— Найдёшь! — кричал он. — Сейчас Бутова приведу! — грозил, снимал и вытирал картуз, и снова требовал, угрожал.

— Ключи у Демокритова, — прервал словесный поток Бакина Аристарх. — Он у нас заместо сторожа...

— Хозявы! — презрительно кинул Бакин. — Пошли к попу...

Демокритов на дворе плёл корзину. Две охватистые связки ивовых прутьев лежали рядом. Он мастерил разновеликие короба, шеверюшки, верши, корзины и по воскресеньям выносил их на городской базар. Тем и жил.

— Дай ключ от Троицкого! — с ходу приказал Бакин.

Демокритов встал, отряхнул длинную, до колен, рубаху, неторопливо вынес из дома тяжёлый вилого литья ключ и отдал Плотникову.

— Вот как! — распаялся Бакин. — Я прошу, а отдаёшь другому!

— Я отдал директору музея — тому, кто мне его дал, — ровной хрипотцой от долгого молчания ответил Демокритов.

— Вы, гражданин поп, мне намеки не стройте, я всякого повидал. Мы захотим — дак турнём вас за религиозные ухмылки над нашей трудовой должностью. Живёте тихо — и живите... пока...

Данила сощурил глаз на Демокритова. Разглядывал долго, пристально, выворачивая в памяти тот далёкий больной кусок жизни, в котором были церковь, староста, толпа мужиков и уходящий от них священник.

Неожиданно Данила спросил у Демокритова:

— А что же вы в Бородине приход оставили?

Демокритов окинул остывшим взглядом блекло-голубых глаз Данилу, ответил:

— В том приходе не имел чести служить.

— Не-ет, был! — гнул своё Данила. — Помнишь, как человека с колокольни бросили, а?

Демокритов вздохнул и ровным голосом сказал:

— Тяжкая обида разум мутит. Обидчика ищите, но я к вашей обиде не касателен. Служил я только здесь...

Бакин с Аристархом вслушивались в разговор. Они знали, что Демокритов — тутошний, коренной. После революции он лишился прихода, но исполнял обязанности батюшки по окрестным селам. Нагрянула из губернии фининспекция, и Демокритова за неподачу декларации и невыплату налога с дохода лишили работы.

Бакин от обиды на всю поповскую братию молчал и не заступился за Демокритова.

Замолвил слово Аристарх:

— Пусть я и неверующий, но не могу стерпеть всякую наговорную несправедливость! Рафаил Никандрович хоть и принадлежит к жеребьячьему сословию, но человек он душевный и смирный, никому он корыстей не творил, а живёт он в нашем городишке вот почти уж лет сорок, и никого он с колоколен не скидывал, а даже, наоборот, помогал людям. А ты вот только появился и сразу людей на зуб

пробуешь, словно фальшивую деньгу! — высказал он Даниле.

Данила хоть и понял, но не хотел признаться в ошибке. Он смотрел на прямую спину Демокритова и чувствовал жгучую слезоточивую боль в убитом глазу.

Лет десять назад Данила был в том селе.

Боясь и в то же время желая, чтобы его узнали, он шёл к церкви, — шёл с надеждой увидеть старосту и батюшку. В кармане холодила ладонь тяжёлая латунная гирька — это для старосты.

Вышел на церковную площадь, почти всю захваченную настырными клочками игольчатой травы. Здесь лежал отец. Глянул на вершину колокольни. Площадка звона была заколочена досками. Церковь без крестов и куполов оборудовали под клуб. Данила понял, как далеко ушёл он от того времени, но вечное зло загустело в нём, словно дёготь на морозе, тяжело давило, просило выхода.

Староста умер. Батюшку в восемнадцатом году увезли в волость, в село он не вернулся. Жив только церковный сторож — рассказали Даниле сельчане.

Сторожа он настиг в полдень в избе. Долго наблюдал за ним издали. Видел, как старик собирал под яблонями падалицу, расходовал время не спеша, без суеты. Понёс корзину яблок в сени. Данила — за ним. Приладил взглядом гирьку к пушистому, как у цыплёнка, затылку старика. Тело вмиг прохватила испарина. «Тюкну и уйду!» — прострелила мысль. Но запах яблок — такой густой в бревенчатых старых сенях, спелый, с кислинкой, с выбивающим слюну ощущением свежести, обильной сытости — сбивал Данилу с затмевающего разум действия. Он не мог ударить.

Старик высыпал яблоки на солому и вошёл в избу.

Данила поднял коричневое, наполненное прокисшим соком яблоко, сунул его в карман. Старик повернулся на скрип двери. Полуулыбаясь раскрытым ртом, глядел на Данилу добрыми отживающими глазами.

— Не воруют яблоки? — вместо приветствия спросил Данила, крутанув взглядом по тёмной передней.

— Слава богу, у нас не воруют. Ребяшня иног-

да озорует, да что с них возьмёшь, — отозвался старик узнаваемым голосом церковного сторожа из Данькиного детства. Спросил: — А вы не из волости часом, по заготовкам?

— Точно, — отозвался Данила, садясь на лавку и вытягивая усталые ноги в бархатных от пыли ботинках. Он подумал о том, как сказать старику, чтобы он разом и узнал, и напугался, и раскаялся. — А в церковь за твою холуйскую бытность в сторожах много воров лазило? — спросил, наведя на старика увеличенный в полумраке горницы блестящий глаз.

Старик, всё так же улыбаясь, непонимающе глядел на Данилу.

— Сорок годков, почитай, церковное добро охранял. Себе ни-ни, ни медного крестика, для общины берёг, а топерь всё растащили. Сказывают, Бога-то нет... — погордился и покручинился старик.

— А помнишь, мочалка сортирная, как мальца выслеживал? Как ему староста луковичей глаза выжигал? Помнишь? А отца того мальчонки с колокольни кинули!

В старике занялся ещё не ясный страх. Он попытался согнать улыбку, дряблые губы задрожали; стал мелко, вяло отмахиваться жёлтой ссохшейся, словно палый кленовый лист, ладошкой.

— Было, было... грех какой... молился опосля... сколько годов прошло... было! — отвечал старик и тут же оправдывался: — Добро стерёг, служба, чай...

— Не узнаешь мальчика? — хлётким голосом смял лепет старика Данила. — Вот я и пришёл за глазом. Хотел у старосты взять, а он — в земле. Поп смотался! Может, знаешь, где он?

— В волость...гепу... нее... — затряс головой бывший сторож.

— Тогда у тебя глаз возьму! — сказал Данила.

— Что ты! Свят дух... рази у живого... — обтыкал себя быстрыми крестами старик. — И глаза слабые... девятый десяток...

— А мальчишке тогда сколько было?! — прикрикнул Данила и вдруг почувствовал, что мстит не за себя, а за стороннего едва знакомого ему ребёнка. Данила жалел в себе того мальчишку с одноглазой исхлёстанной обидами жизнью. Жалел мать этого подростка, которая через год ушла за отцом, измятая какой-то странной нут-

ряной болезнью. — Значит, не дашь глаз? — У Данилы перехватило горло. — Тогда я сам возьму! Только сперва луковичкой тебя...

Старик шатнулся к низким окнам.

— Не-е... — обморочно затряс головой.

Данила сцепил сторожа за грудки. Ощутил костистую немощь обвисающего тела. Правой рукой вынул гнилое яблоко из кармана и сжал его. Старик скошенными глазами увидел меж пальцев серую жижу, рванулся, но не назад, а вперёд, на держащий его уцепистый кулак Данилы, замычал:

— Не-е-е...

Данила мазнул по шершавому лицу старика раздавленным яблоком и в ту же секунду после вскрика «а-а-а!» почувствовал тяжёлый парной запах, хлынувший от бывшего церковного сторожа.

Данила отпустил рубаху старика, и тот, резиново подминая ноги, оплыл на пол.

Сейчас, шагая за батюшкой, он вспомнил старика и того попа, и ему так захотелось, чтобы Демокритов был именно тем попом. Данила вспоминал походку, спину, лицо его, но всё было в розовом тумане, и, как ни пытался он выволить из памяти до определённости ясный образ и совместить его с образом Демокритова, не получалось. Единственно, что Данила помнил точно, так это прямая, от шагов не дергающаяся и не гнушаяся спина того попа.

Оправдывая сомнение, Данила домислил: «А хоть бы даже и не он это — всё одно поповское отродье. Был бы этот тогда в селе, случилось бы так же...» Данила злился и не знал ещё, как распорядиться своей злобой.

Не знал, как распорядиться своей злобой, и Плотников, шагавший за Бакиным. Но его злость была от отчаяния, от загнанной одинокости бессильного человека. Злоба копилась и на Бакина, как конкретного рыжего дуrolома, сидящего на должности, и на других людей, стоящих над Бакиным, потому что с их согласия он творил городские чудеса. Что, кроме злобы, мог противопоставить Плотников? Тяжёлый ключ, зажатый в руке, от горячей его ладони стал влажным. Плотников думал о том, что сейчас он раскроет им дверь и тем самым разрешит слом очередной церкви.

— Вот они, кирпичики! И крыша без дыр! — повеселел Бакин, когда подошли к собору. — Тут и оборудуем электричество!

В соборе хоронился от уличной жары ладанно-прохладный воздух. Небольшой снаружи храм внутри казался просторным и высоким. Через верхние оконца густыми полосами текло солнце. Осветлённые фрески благородно лучились вековым золотом и не затёртой временем лазурью. Тонкой резьбы царские врата, иконостас с полным набором икон, латунные узорные поликадила в алтаре — всё было нетронуту и сохранялось доброй рукой.

Это заметил Бакин.

— Да вы никак тут службы организуете? — спросил он не Демокритова, а Плотникова. — И свежим ладаном пахнет!

Плотников не ответил. Отошёл к стене и сделал вид, что рассматривает растительный орнамент, которым расписан низ стены.

Бакин ходил по храму, громко говорил, топал в пол — осознавал себя хозяином и радовался этому. Многократно усиленные звуки голоса и шагов вызывали в Бакине осознание своей значительности и важности того, что он говорит. Даже подумал о том, что если здесь, а не в тесном рабочем клубе проводить собрания, то он, Бакин, мог бы поиграть голосом не хуже баянщика. Глянул на мрачного Демокритова, пугнувшись: не прочитал бы поп его мысли. Какое-то подобие сочувствия шевельнулось в Бакине. «Отрезвонил, — подумал о бабушке. — Ни попады, ни детей. Храмик этот скovyрнут — и жизнь вся». И, тут же беспощадно изгнав из себя эту хлипкую мыслишку, он повернулся к Даниле:

— Вот это строение надобно расчистить под электростанцию.

— Дело ясное, — в тон ему отозвался Данила. — Вычистим и уберём. Но тут есть утварь старая — пусть музей забирает!

— Вижу мастера! — пошутил Бакин, обратившись к Аристарху. — Это уж твоё завхозное дело...

Аристарх сволок фуражку на лоб, поскрёб затылок, ответил:

— Таких мастеров — колами с дворов!

— Но-но, — вытянул подбородок Бакин. — Ты ветродуй известный! Сперначала сам кирпич

кобенил и продавал, а сейчас окраску сменил?

— А ты не путай хрен с пальцем! — взвился Аристарх. — Я в строениях разбираюсь! Одни можно ломать, а такие вот, — ткнул пальцем вверх, — нельзя! Оне — реликвия!

— Хватит, слышали — «реликвия»! — перебил его Бакин. — Всё это оприходовано горкомхозом, и это наш строительный запас, а другое — трепотня! Наша страна настроит таких хороминок, что ахнешь и закачаешься! Не видишь ты из-за стен монастыря нашей дальней задумки, потому что близорук ты и упрям, да ещё засиживают тебе мозги всякие музейные граждане, которые от безделья мудрят здесь! — Бакин с удовольствием слушал раскаты своего голоса, туго бросавшиеся вширь и ввысь.

Плотников, подчиняясь бессилию, которое находило на него вместе со словами Бакина, уже не думал. Мысли завяли, лишённые напряжения. Он чувствовал каким-то инстинктом, как всё будет дальше и как бесполезно сопротивляться реально подступающим действиям. Наверно, это и был инстинкт самосохранения. Он выключил мозг и волю и заставил Плотникова поступать так, как он сейчас и поступал, — молчать. Но набухало внутри и сопротивление, было оно такого свойства, какое бывает у детей, видящих несправедливость и протестующих против неё не разумными словами и действиями, а криком, плачем, пинками, отчаянными ударами слабых кулачков.

Плотников, словно переламывая в себе тонкую жёрдочку преграды, с усилием сказал:

— Сейчас ничего трогать здесь нельзя. Из области приедет комиссия, и только после её заключения... Я уже доложил, скоро приедут!

— Вот что, гражданин Плотников, — сбавил напор Бакин. — Дело это решённое. Все соборные внутренности, если нужны, забирайте в свой музей. Подождём комиссию денька два — время терпит, а там!.. Не мешайся в нашем деле, а то... гляди! — погрозил пальцем Бакин. — Недалеко и до беды!

Из областного отдела народного образования приехала женщина в серой накрахмаленной кофте с глухим стоячим воротником. Громыкнув шнурованными туфлями на квадратном каблуке, размашисто отряхнув широкую

чёрную юбку, она по-птичьи сверху взглянула на Плотникова и Аристарха, резким голосом приказала:

— Показывайте ваш музей!

— Ишь, кака мадамочка, — шепнул Аристарх. — Хоть свечку ставь...

Товарищ Гастон — так полуприказала называть себя женщина — быстро прошла в главную комнату музея, где на стене красно глазел плакат «Ударим по религии наукой» и рядом большими буквами было выведено: «Великое открытие революционной науки — производство лимонной кислоты из махорки!» Ниже — рисунок: загогулистая «козья ножка», из которой вместо дыма снуют в пузатую бутылку жёлтые грушевидные капли.

Товарищ Гастон странно поддёрнула губы, словно ощутила вкус лимонной кислоты, поправила очки и с видимым усилием сдержала какие-то явно нехорошие слова.

Аристарх заметил это, вмиг напряжился, подмигнул Плотникову и скороговорчато стал рассказывать инспектору о музейных делах, которых они с товарищем заведующим переделали великое множество.

Плотников краем уха слушал словесное озorstvo Аристарха, а сам отстранённо, словно впервые попавший сюда человек, оглядывал редкие бедные экспонаты. Он чувствовал себя неловко, и это мешало ему говорить, а говорить было необходимо — женщина из области, видимо, ждала пояснений от него, а не от завхоза.

В зале «Первобытная культура» с черепками, надколотыми кувшинами, плошками, остатками древних захоронений был прислонён к стене бивень мамонта — огромный тёмно-коричневый, похожий на ошкуренный сук старой яблони, гладкий и твёрдый.

Товарищ Гастон сняла очки и с удивлением стала разглядывать бивень. Она опасливо тронула экспонат сухоньким, словно обломочек тростника, пальчиком, отдёрнула его и отёрла о такую же сухонькую бескровную ладошку.

— Клык мамонта! — возгласил Аристарх. — Пойман прошлым летом в Ирмеси и с превеликим трудом доставлен в музей.

— Интересно, — высказала после недолгого молчания товарищ Гастон. — Весьма любопытно для ваших мест. — Она ещё раз попыталась

соприкоснуть свой немощный пальчик с древней убийственно-тяжёлой костью, но с полпути возвратила его в кулак и, повернувшись к Плотникову и Аристарху, строго сказала: — Этот экспонат у вас задвинут и совершенно не оформлен!

— Выдвинем! — уверил её Аристарх. — Керосинчиком помоем и на две подпорки положим вдоль...

— Керосином? — задумчиво переспросила товарищ Гастон и пожалла плечами: — Впрочем, может быть, и следует керосином... А не разрушится?

— Не-ет! — солидно пояснил Аристарх. — Керосином волосы от вшей моют. Вши дохнут, а волосы не вылезают.

В зальчике «Старорежимный быт», где на деревянных крестовинах висели ризы, шитые золотой и серебряной нитью, саккосы, эпиграхили, одежда купцов и служивых, товарищ Гастон втянула хрящеватым носом затхлость, издаваемую залежалой тканью, бросила через плечо:

— Надо просушить, товарищи!

— На бабий нюх не прикинули, — шепнул Аристарх.

В Троицком соборе товарищ Гастон после короткого осмотра с лёгким торжеством в голосе сказала:

— Я с первого шага здесь почувствовала абсолютное игнорирование указаний комиссии!

— Не понимаю вас, — удивился Плотников.

Аристарх отшагнул к стене и стал постукивать по набухшей штукатурке кулаком — сделал вид, что разговор его не интересует, а сам напряг порченное морозом ухо.

— Всё вы понимаете, товарищ Плотников! Вот акт комиссии, — она протянула ему листки из папки.

Действительно, на шести страницах описано состояние экспонатов дольского краеведческого музея, а касательно Троицкого собора сказано: «Контрреволюционная направленность очевидна». Предписано: «Иконостас разобрать. Настенную живопись забелить. Церковную утварь, имеющую ковку фактуру, сдать на нужды народного хозяйства». И пять подписей. В самом низу последней страницы: «С выводами комиссии согласен. Зав. музеем...» А подписи нет!

— Когда принимали дела, вы должны были ознакомиться с актом и немедленно приступить к выполнению его содержания, — чеканила товарищ Гастон.

— Я не видел акта! — с глухим упрямством заговорил Плотников. — Я не видел этого акта, повторяю вам. Я не знал о комиссии. Я не был знаком с бывшим заведующим. Но если бы и знал, то, как и он, я бы не подписал этот акт.

— Вы его обязаны подписать! — с профессиональным напором сказала инспектор. — Вы обязаны выполнять то, что вам предписано, товарищ Плотников, иначе... — она выразительно оборвала фразу, подёрнула очки.

— Подпишем-подпишем, гражданин-товарищ инспектор! — вдруг заговорил от стены Аристарх. — Заведующий молодой, новый, а я не сказал ему о комиссии и об этих предписаниях — выпало из головы, такая канитель была!

Плотников понял: собор приговорили до его приезда сюда и ничего уже нельзя сделать. Но всё же он решился на последнюю, видимо, безнадёжную просьбу:

— Я попрошу вас, товарищ Гастон, поговорить с председателем горкомхоза, чтобы он дал нам время на выполнение работ по акту. Мы всё это опишем и складуем... — Плотников рассказал о намерении Бакина разместить в соборе электростанцию.

— Что значит — «разместить»?! — к удивлению Плотникова, возмутилась инспектор. — Без нашего разрешения он ничего здесь не разместит. Конечно, я сейчас буду у него и поговорю — не все культовые сооружения можно ломать. Работайте, товарищи!

Через день Бакин встретил Плотникова у дверей музея и раздражённо сказал:

— Нажаловался?! Теперь жди, я тоже оглас сочиню...

21

Перестройка в Дольске началась в понедельник с утра, когда шедшие на работу чиновники увидели на ступеньках перед дверями райкома партии первую комсомолку, бывшего члена ячейки безбожников, учительницу обществоведения на пенсии Наталью Семёновну Савостикову. В руке старушка держала

плакат с глазастой надписью красной тушью: «Руки прочь от памятника великому Ленину!» Памятник стоял на площади перед зданием райкома. Ленин, сжав правой рукой кепку, левую протягивал вперёд — указывал в светлое будущее. Но светлое будущее в Дольске отгораживалось от вытянутой руки вождя стенами Воскресенского монастыря с семидесятиметровой колокольней. Рука Ленина указывала точно на колокольню.

Дольские перестройщики начали публично кричать о сносе памятника. Но вмешался американский богач-коллекционер. Он предложил за памятник миллион долларов и этим обескуражил ломщиков. Они уже внимательными глазами поглядели на бронзового вождя. Если американец даёт такие деньги, то, может быть, оставить пока памятник?! Как сказал один из новоявленных преобразователей жизни: «Стоит — хлеба не просит!» Впрочем, об американце, скорее всего, пустил слух кто-нибудь из местных сочинителей.

Дольский благочинный отец Диомид на службе в Казанском храме явил прихожанам мысль, что вождь рабочих и крестьян, сам того не осознавая, своей сакральной позой связывает будущее народа с православием. Тем самым благочинный притормозил революционные помыслы той части верующих, которые готовы были поддержать призыв о сносе памятника.

В городе началось брожение. Выхлопы бродильных газов выплескивались на страницы местной газеты «Дольская новь» — так теперь стал называться «Колхозный клич». И три раза в неделю удушающим смрадом от слома старой жизни обволакивали слушателей передачи районного радио.

Ответственным редактором радио стал тогда некто Токарев — человек, приехавший с Камчатки, где он работал инструктором райкома партии.

После ухода на пенсию Арсения Широгорова ответственным Елагина не назначили: он не был членом партии. Но по настоянию тогда ещё властного райкома ему дали однокомнатную квартиру в панельном доме.

Токарев — шустрый, подвижный, разбитной — любил выпить, покуражиться, рассказывать анекдоты. Он становился своим в любой ком-

пани. С началом Перестройки он стал ярким преобразователем местной жизни. Вернее, её разрушителем. Каждую неделю субботняя передача дольского радио начиналась песней о поручике Голицыне и корнете Оболенском. Кажется, в песне были такие слова: «Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, надеть ордена!» Хотя, если подумать, с какого счастья у корнета — ордена, а у поручика только патроны? Так по душе пришлась эта песня Евсею Леонтьевичу Токареву, что он то и дело крутил её на дольском радио, а чтобы оправдать своё пристрастие, перед трансляцией говорил: «По многочисленным просьбам радиослушателей мы исполняем...» И в сотый раз эскадрон с поручиком Голицыным и корнетом Оболенским скакал по ошалевшему от непонятной новой жизни Дольску.

Райком партии, вычеркнутый из конституции как организующая и направляющая сила, погрузился в тишину пугливого ожидания. Отдел пропаганды и агитации уже не следил за умонастроениями районных масс. В нём работали три женщины, похожие друг на друга: лощёные, напористые, неулыбчивые, словно выведенные одним селекционным приёмом, вдобавок незамужние. В спокойное время они важно стучали каблуками по райкомовскому паркету. От них пахло дорогими духами, заморским кремом, и казалось даже, что их сытые тела слегка поскрипывают, стиснутые плотно пригнанной одеждой. Незыблемость мироустройства являли эти женщины своим видом.

Преображались они, когда в райком приходило известие о приезде высокого областного начальства. Какая-то восторженная озабоченность меняла их облик. Голоса становились тише, в речах вызванивалась этакая зловещинка. Шаги женщин делались быстрыми и лёгкими. Выпуклые части тел подпрыгивали под одеждой — видимо, им тоже передавалось паническое благоговение перед высокими людьми. Тогда от женщин, кроме духов и крема, пахло ещё и терпким незамужним потом. При начальстве они были под рукой и на глазах: суетились с бумагами, подсовывали и уносили, подсказывали и показывали, направляя начальственный взгляд в нужную точку в зале. Они видели весь зал, знали, кто где сидит, и при упоминании то-

го или иного человека мгновенно находили его и высвечивали горящими глазами — мол, вон он здесь, оформляли место начальственного лица действия — ставили цветы и воду. Улыбались, когда надо было улыбаться, подавая сигнал залу. Они начинали хлопать в ладоши раньше других, приглашая зал последовать их примеру. В общем, отрепетированно работали.

Когда важные люди отбывали в область, суета прекращалась. Женщины сходились в кабинет и долго, устало от сброса нервного напряжения обсуждали свои и чужие действия. Находили промашки и недочёты, уговаривали и заговаривали их, в итоге с чувством хорошо сделанной работы расходились по домам. На следующее утро они вновь лоснились, поскрипывали и постукивали в райкомовских коридорах.

С первыми перестроечными залпами по партии незыблемость женщин начала сдвигаться и пошатываться. Они словно сникли и ужались. В их облике появились растерянность и растрёпанность. Они могли появиться в райкоме с утренней мятостью в причёсках и с небрежным макияжем. Они начали улыбаться «простым людям» этакой заискивающей улыбкой. Идеологические женщины вяли на глазах.

В подвале райкома партии была оборудована мастерская художников-оформителей. Здесь готовили наглядную агитацию: плакаты, транспаранты, планшеты к государственным праздникам. Но в последние месяцы заказов не было — художники искали шашку и пили вино.

Однажды к ним забежал возбуждённый второй секретарь райкома. По образованию он был агроном, окончил высшую партийную школу, и жизнь зашвырнула его в это престижное по уходящему времени заведение. Секретарь попросил у художников опохмелиться. Высосав полстакана водки, охнув и передёрнувшись всем телом, секретарь расслабился и присел на продавленный топчан.

— Бурлит? — спросили художники про райком, показав на потолок. — Суши сухари?

— А вы что, демократы? — зло спросил секретарь.

— Мы-то художники! — ответили художники.

— Эти демократы допрыгаются. Мы им этого так не оставим! — сказал секретарь скорее себе, чем художникам.

— Я тоже партийный! — сказал старший художник, заведующий мастерской. — Но не понимаю, что творится.

— Держитесь! — сказал секретарь. — Броня крепка! — Он встряхнулся, застегнул пиджак, причесался и ушёл наверх. — Броня крепка! — повторил он уже в дверях.

— Припекло задницу в райкомовском кресле! — сказали художники, кроме партийного. — Проболтали страну...

— Договоритесь! — сказал партийный художник. — Слышали? И танки наши быстры! Всё ещё вернется!

Не вернулось.

Впрочем, секретарь райкома скоро забыл про бронепоезд. У секретаря был свой запасной путь. Он стал директором акционерного общества, созданного на базе бывшего совхоза «Заря коммунизма» и одним из первых рублёвых миллионеров в районе.

Вторая перестроечная волна, потрясая Дольск, — местный церковный раскол.

Прислали на окормление верующих нового батюшку. Был он южных кровей: ликом чёрен и щекаст. Ростом высок. Телом объёмен и грузен. Звали его отец Никодим. Он истово взялся за церковное становление в городке. Крестовоздвиженская церковь, данная ему на служение, в считанные месяцы засверкала обновлёнными куполами и крестами. Сметанным блеском заискрились на солнце некогда обшарпанные стены церкви. Внутренняя отделка и оснастка из скромной постепенно превратилась в роскошную: резной иконостас, покрытый сусальным золотом, иконы в золочёных окладах, кованые люстры и паникадила.

За одно лето воздвиг батюшка Никодим два дома: свою резиденцию и двухэтажный домик для паломников на двенадцать комнат...

Строители работали с невиданной горожанами скоростью. Никодим щедро оплачивал работу, но круто расправлялся с нарушителями дисциплины. Утром перед началом работы он оглядывал рабочих. Пришедших с похмельной мутой на лице гнал со строительной площадки проспаться. Предупреждал: ещё раз такое увижу — выгонию окончательно. Пьющих на стройке — изгонял сразу и навсегда, правда, выпла-

тив выходное пособие, — видимо, помнил деяние апостола Петра, пустившего в рай пьяницу.

Отец Никодим перечислял деньги в Фонд мира. Была в социализме такая солидная организация, видимо, укреплявшая мир во всем мире. Никодим жертвовал такие суммы, что однажды из Москвы прислали в Дольск решение: наградить батюшку Никодима золотой медалью фонда. Никого в области такой медалью не награждали, и районные руководящие органы «пришли в замешательство» — как наградить священнослужителя? Прилюдно, с оглаской? Но это — религия! Тихо? Но Москва же наградила!

После непродолжительных терзаний решили вручить батюшке медаль на сессии городского совета депутатов трудящихся, и только в конце — в разделе повестки «Разное».

Вышел на сцену батюшка Никодим в чёрной рясе, с крестом и панагией на широкой груди. Произнёс речь за мир во всём мире, призвал народ работать не только за мзду, но и во славу Божию. Председатель городского совета приколол ему медаль на рясу рядом с панагией и торжественно пожал батюшке руку. Это была первая в Дольске публичная смычка государства и церкви после семидесяти с лишним лет вражды.

Елагин записал на магнитофон процедуру награждения. Выступления председателя совета и Никодима решил дать в новостях. Но на выходе из зала заседаний его остановил секретарь райкома по идеологии и сказал:

— Освещать будешь — скажи пару слов. Не надо вот эти речи попа! Мол, вручили за вклад в дело мира награду — и всё. А ещё лучше — ничего не говори! Хотя... позвони своим в радиокомитет — что они скажут!

Елагин позвонил в областной радиокомитет. Выслушав, главный редактор задумался, и эти думы повели его куда-то далеко. Так далеко, что он попросил Елагина перезвонить ему минут через сорок. Через сорок минут главный редактор ответил уже не спокойным голосом, а нервически-возбуждённым. Видимо, думы его слетали за консультацией в какие-то ещё более высокие инстанции и получили энергетический взгрев, который главный редактор и переключил Елагину:

— Ты, мил друг, — сказал он, — поосторожней с попами! У вас что, говорить не о чем в передачах? Попов ещё нам не хватало! Медаль?! Да он купил эту медаль! У нас колхозы в Фонд мира копейки перечисляют, а ваши попы — тысячи! За все колхозы района, а может быть, и области! Кому же медаль давать?! Так что лучше промолчи!

На том беседа с главным редактором и завершилась.

Всё же Елагин передал в новостях коротко: «Вручили священнику Никодиму золотую медаль Фонда мира. Решение было принято в Москве».

Областные радиона начальники не услышали, а районные, услышав, промолчали.

В истории районного радио это было первое упоминание о благородном поступке священнослужителя.

Число прихожан к батюшке Никодиму увеличивалось. Иные заходили в храм из любопытства, соблазненные слухами о богатом убранстве Божьего дома. Заглядывали в храм туристы, гуляя по городку. Православные иностранцы ставили свечки и фотографировались на фоне особо почитаемых ими икон: Никодим разрешил фотосъёмку. Иностранцы получали экзотику (нуткоть, поставив свечку в захолустном русском городишке!) и убеждались — Перестройка в России действительно началась.

Видя деятельное усердие батюшки Никодима в деле становления обновляемой церкви, вышестоящие богослужебные власти решили направить его на новый участок православной работы — в захолустный городишко, — ещё более захолустный, чем Дольск, вдобавок в стороне от туристических трасс и с одним напрочь разрушенным храмом.

До Никодима молодой батюшка из того захолустья, присланный сюда на восстановление храма и укрепление веры жителей, — видимо, сам не до конца укрепленный, — при виде руин, которые ему надобно было восстановить, опустил руки, разочаровался в жизни, в справедливом и Божьем её устройстве. Разочаровался он и в местных прихожанах, большинство из которых были безработные, а следовательно, требовали за любую работу мзду, думая, что у нового

батюшки денег вагон и маленькая тележка. Разочаровался новоприсланный батюшка и в молоденькой попадье, которая начала роптать от абсолютной неустроенности быта. А ведь она мечтала, что её суженому, с отличием окончившему духовную академию, служившему два года в столичном кафедральном соборе, дадут приход обустроенный, с хорошим домом и намоленным храмом. А иначе не пошла бы она, девица из нерелигиозной семьи, через месяц случайного знакомства замуж за выпускника академии, которому в безработное время были гарантированы работа и жалованье.

Но не осилила молодая семья испытаний, возложенных на неё Господом. Батюшку окольцевал зелёный змий, а матушка сбежала в город и стала блудницей.

Вот на это место и направляло церковное верховначалие отца Никодима. Но тот воспротивился: что он — какой-то жидкобородый дячок, чтобы им так помыкать? Уже не молод, обременён болезнями, а его, не спросясь, не посоветовавшись, срывают с места!

Московский патриархат за непослушание лишил его сана священника. Но, не снимая рясы, отец Никодим был принят в ряды русской зарубежной церкви с повышением в церковном звании — он стал епископом.

С этого момента брожение в рядах верующих превратилось в кипение. У Никодима попытались отобрать храм приверженцы Московского патриархата. Но верующие никодимовцы с плакатами, иконами и хоругвями окружили храм, устроили круглосуточный пикет. Храм отстояли.

Никодим открыл при нём воскресную школу. Толпами пошли детишки с родителями. Многие из них — и родители, и дети, — заходя в храм впервые в жизни, с оглядкой осеяли себя неловкими перекрестиями. Жажда общения их к православной вере объяснялась ещё и тем, что епископу Никодиму везли из-за границы гуманитарную помощь. Фуры, забитые картонными коробками, примерно раз в два месяца подъезжали к храму и разгружались. Раз в неделю ученики школы получали коробки с продуктами из-за границы, и дома возникал семейный праздничек с разглядыванием этикеток, всасыванием ноздрями ино-

земных запахов, воспаряющихся от блестящих упаковок, восклицаниями и сетованиями: «Живут же люди!»

Новый удар нанесло епископу Никодиму отделенное от церкви государство: его обозвали педофилом. Это понятие пришло в российскую глубинку опять же с Перестройкой. Были ли педофилы в социализме? Наверное, были, но Елагин лет до тридцати не слышал о такой заразе.

В «палёной» газетке под названием «Дольская правда» — выкидышем к очередным местным выборам богатого кандидата в мэры — Никодима обвинили в педофилии с учениками его воскресной школы.

Прочитав это, отец Никодим долго и громко хохотал. Так громко, что стены в большой комнате нового дома, обшитые досками и густо пропитанные янтарным лаком, начали отталкивать от себя звуки, и хохот закружился, словно пар в котле.

Когда священник отец Фёдор, служивший в том же храме и живший в одном доме, только в другой комнате, с Никодимом, услышал чужеродные звуки, он побежал к соседу, открыл дверь и едва не был сбит с ног хохотом епископа. Такого весёлого Никодима его сослуживец никогда не видел.

— Да, братец, столь дьявольского глумления надо мной ещё не было! — сказал тот, протягивая газету Фёдору. — Читал?

— Вечером в почтовый ящик бросили, — ответил Фёдор, не глядя в глаза Никодиму. — Срамно в руки брать, а уж читать... Прости, Господи...

— А ты читай! — гремел Никодим, мигом перейдя с хохота на гнев. — Коли я таков, стало быть, и ты осквернён!

— Да рази кто поверит! — возмущался Фёдор. — Ведь такое в чистую голову не придёт! Я вот на заутрене поведаю об очернителях.

— С них как с гуся вода. Они на этом не остаются! — пробасил Никодим. — Ну что ж, будем готовы к очередным искусам!

В следующем номере «Дольской правды» были напечатаны откровения двух учеников воскресной школы о якобы «развратных действиях» Никодима в отношении их подростковой невинности.

Епископа Никодима вызвали в прокуратуру, около двух часов его допрашивали прокурор и его помощница. У здания прокуратуры собралась толпа с плакатами: «Освободите батюшку Никодима», «Мы знаем, чей это заказ», «Требуем наказать клеветников». Высунули было плакат «В прокуратуре — взяточники», но быстро убрали по требованию отца Фёдора.

Секретарь прокурора шепнула своему начальнику:

— Семён Сергеевич, поглядите в окно!

Тот глянул, побледнел и приказал немедленно закончить разбирательство с Никодимом.

Епископа отпустили из прокуратуры, и он, окружённый толпой прихожан, победоносно прошествовал в свой храм.

Дело всё-таки дошло до суда, на котором приключился совершенно непредсказуемый поворот в судьбе Никодима и его очернителей.

Адвокат епископа потребовал приобщить к делу две медицинские справки, прочитав которые судья сначала побелела, а потом покраснела. То же самое случилось и с прокуроршей, которой передали копии этих двух справок.

В них (по большому секрету!) значилось, что отец Никодим при его внешней мужской силе не обладал главным отличительным качеством мужчины. Скажем поэтически: его можно без всяких опасений назначить евнухом в гарем турецкого султана.

Случилась у него в отрочестве болезнь под названием «свинка». Она и лишила мальчишку мужского семени. Лечение не помогло. Потом, с возмужанием, он забыл про эту сторону мужской жизни. Тем более никаких позывов организма на продолжение рода он с тех пор не чувствовал. Потому, может быть, и стал монахом.

Поднялся большой шум в Дольске, в областном центре и в Москве. Следователя наказали, прокурору дали выговор, клеветников осудили. Батюшку Никодима больше не трогали. Число прихожан в храме его увеличилось.

Верующие люди знают: Господь един, несмотря на то, что он в трех лицах. Но дольские православные разделили Господа на два лица: каждая из двух групп прихожан молилась своему в разных храмах. Приверженцы официальной церкви Московского патриархата и влады-

ка в областном центре обозвали никодимовцев раскольниками и заявили, что их церковь и служба от лукавого, следовательно, те, кто её исполняет и поддерживает епископа, в рай не попадут, а будут гореть в аду.

Все ждали промысла Господа, но он никаких знаков не давал. И люди продолжали исполнять свой христианский долг — каждый по своей вере и в своем храме.

Старые города, как и люди, живут в своём времени, но города, в отличие от людей, не умирают и уходят, а замирают и смотрят в небо. Старые города становятся понятными и близкими только на фоне неба. Небо — это вечность.

Вид на древний город сверху: размытость некогда разумных линий улиц, переулков, площадей. Радужный мусор инородных поздних вкраплений — новостроек, или, как говорят музейщики, новоделов. Храмы и монастыри тонут в этом мусоре, словно археологические древности в культурном слое, который необходимо расчистить, чтобы явить эту древность. Вычленив древний город сверху нельзя, и потому он мёртвый. Он не смотрит на тебя, не подаёт из своей вечности сигналы и даже небо не помогает, потому что небо сверху — ты его не видишь. Но когда смотришь на древний город снизу, откуда-нибудь с излучины реки, с низкого берега — город оживает!

Все древние города на Руси стоят на берегах рек. Найдёшь на берегу заветное место в предвечернее время, когда вокруг безлюдность, тихое журчание речки, редкие резкие просвисты стрижей, лёгкое оглаживание лица свежим водянистым ветерком. Отсюда подними глаза наверх, на многовековые стены монастыря, из-за которого уже глядят на тебя золотые купола храма. Оживают оконца, проёмы и продухи в стенах, башнях и бойницах. В них возникают тени и силуэты — не застывшие. Они двигаются, сменяют друг друга, словно там выстраиваются очереди, чтобы поглядеть на тебя. В особо пронзительное время даже слышишь смешливый шёпот сотен голосов оттуда. Словно обладатели этих голосов увидели диковинного тебя и смотрят теперь на чудное существо на берегу, и смеются над его нелепой одеждой и необъяснимыми повадками. И на небе нет облаков.

Оно бездонно. Словно и там возникает понятие того, что нельзя отвлекать человека от соприкосновения с ушедшим.

Когда поднимаешься с берега и становишься вровень с монастырем, время раздваивается: ты живёшь в своём времени, а то, что минуту назад видел и чувствовал, отлетает в многовековую даль, и замертвевшая древность уже не видит тебя. Она чужая.

Так думал Елагин, заходя на эту узкую береговую площадку, найденную им случайно.

В жаркий полдень он спустился к речке и попал в это необъяснимое состояние другой реальности и испугался. Это состояние было чем-то похоже на то давнее больничное, после смерча. Сейчас оно не казалось таким реальным, как тогда. Скорее, это было предчувствие той непонятной реальности. Как у больного начало приступа: вот-вот начнётся и необходимо избавиться от него лекарствами. Но сейчас здесь какие лекарства? Елагин пошёл вдоль речки. Едва сделал несколько суетливых шагов, как почувствовал, что того неожиданно накатившего состояния уже нет. Он в своём времени, слышит голоса людей, видит вдали фигуры. По дальнему мосту едут машины и автобусы. Высокое небо опорошил ход крохотного самолёта: он перешагнул незримую черту, разделяющую два мира — реальный и ушедший.

Елагин стал часто приходить на это место под монастырём.

Переменчивость в жизни людей никак не повлияла на образ старого города, как не повлияла эта переменчивость на облик неба. Город так же стоял и смотрел в небо, совершенно равнодушный к суете людей. Окружавшие его дома из панелей, облепленные тарелками антенн, словно серые кучи мусора, обросшие грибами-поганками, не в силах были обезобразить его.

В городке появились новые люди. Новые — не в смысле приезжие, а обновлённые коренные. Появились они так же неожиданно, как дольские дворяне.

До сего момента это были тихие задумчивые люди, добросовестно исполнявшие свои житейские обязанности. Скромно одевались, скромно питались, скромно думали. И вдруг они начали кричать о правах и независимости, требовали свободы слова. Но — странно — са-

мые свободные слова у них были почему-то матерными.

Началась игра в депутатов. На одно депутатское место в совете кандидатов было человек по десять. Они носились по улицам, предприятиям и организациям. Говорили об устройстве новой хорошей жизни — несравнимо лучшей, чем была. Только доверьте именно ему делание этой будущей жизни. Отдайте за него свой голос, и он, будучи депутатом, не подведёт: костюми ляжет... отдаст все силы... и так далее.

Как относился к этим новоявлениям старый город?

Группа предвыборных кандидатов — было их восемь человек — спешила на встречу с избирателями в музей. Едва они вошли в липовую аллею на территории монастыря, как грянул с башни колокольный звон. Это звонарь выбил первый аккорд благовеста, приветствуя будущих слуг народа. Он выполнял распоряжение директора музея, которая сопровождала кандидатов к месту их встречи с коллективом.

Шедшие по аллее не обратили внимания на скопище ворон, осыпавших ветки лип. Птицы дремали после дальнего набега на коровий выпас ближнего к городку села. Сытно пообедав, они устроились на монастырских деревьях.

Первый громopodobный аккорд благовеста обломился с колокольни на дремавшие стаи ворон. Чёрный дым сотен ошарашенных птиц закрыл небо над аллеей. Оглушительный нутряной карк и полотняный хлоп бьющихся в воздухе крыльев мягкой лавиной накрыл делегацию кандидатов в депутаты.

Директор музея едва успела сказать:

— Быстрее, быстрее, а то...

И как посыпались на головы, плечи и спины людей бурые с серыми прожилками, не успевшие остыть за короткий полёт, увесистые от нагулистой летней жизни комочки. От ударов они кляксами растягивались на людях.

— В душу, мать! — закричал кандидат от дольских коммунистов, получив три комочка в голову. — За*****, словно демократы!

Но и кандидат от демократов, наделённый избыточной порцией птичьих даров, так же по-старорусски заматерился. Вдобавок пообещал, что если его изберут, то он изведёт весь этот птичий шалман дочиста.

Но все эти предвыборные обещания были заглушены широким благовестом, усердно выбиваемым из вновь повешенных колоколов седым восторженным звонарём.

«А ведь это знак! — подумал тогда Елагин. — Не принимает старый город этих трепачей!»

Горожане верили тем первым депутатам. Голосовали за них, сбитые с толку их вольным, удивительно безнаказанным трёпом. Но жизнь становилась всё хуже и хуже. И партия не направляет, и слова освободили так, что хоть харкайся ими друг в друга — нет, не получалась новая хорошая жизнь.

Дольское городское сожительство разделилось на четыре группы. Первая группа, самая малочисленная, — монархисты. В неё входили новые дворяне и часть православно верующих. Вторая группа — вечные коммунисты. Централизованно их стали называть «красно-коричневыми», «коммуняками». Это были идейно непоколебимые ветераны партии и войны, пенсионеры. Третью группу составлял выведенный перестроечной селекцией новый тип людей — демократы. Самой яростной частью этой группы были «перевёртыши» — бывшие партийные работники, исполкомовцы, газетчики с партийными билетами в карманах. Они со знанием дела месили слухи о несправедливой жизни партии, о преступлениях, зажимах и гонениях. «Пинали» своих бывших начальников. Брали тухлый фактик из реальности, добавляли в него свою фантазию, бросали туда всякую житейскую дрянь, толкли это всё пестиками нововытесанных лозунгов, заливали общедоступным трёпом и обрызгивали этой мешаниной восприимчивые мозги слушателей и читателей.

Четвёртая группа горожан была самая многочисленная — неопределившиеся или колеблющиеся. Эти люди наблюдали за напозающей на них новой жизнью, и если какие-то приступы демократических обвинений задевали, совпадали с их мыслями, то они занимали позиции демократов, говорили: «Поделом врезали!» Но когда из магазинов свежим ветром перемен начали выдуваться продукты и товары, а по талонам стали давать по две бутылки водки на месяц, консервы и по паре трусов, колеблющиеся примыкали к коммунистам: «Войны нет, а

жрать нечего! Скоро без штанов пойдём! Доболтались демократы!» Были в этой группе и ехидные. Они смотрели на теперешнюю жизнь, словно любопытные соседи в замочную скважину: а за дверью — драка супругов, переходящая в долгие поцелуи, и наоборот. Ехидные хихикали, радовались тому, что у них в жизни спокойствие и тишина.

В каждой из этих групп были свои идейные образцы. По крайней мере, их можно было так называть по внешним проявлениям.

Демократическим образцом в Дольске стал Евсей Леонтьевич Токарев. После песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском он обрушил на уши местных обывателей гимн «Боже, царя храни!» Запись принёс ему рыцарь Мальтийского ордена, руководитель дворянской ячейки города Ростислав Ермолов. Произведение громоподобным голосом, с трепетом и дрожью исполнял народный артист России, который был известен песнями о героях Гражданской войны. Куплеты из этого гимна предваряли и завершали выступления перед микрофоном дольских дворян.

Ростислав Ермолов говорил о возрождении дворянства, о кровавом прошлом, в котором большевики уничтожили «цвет нации». Рядом с ним у микрофона сидел чудом сохранившийся отросток «цветка нации» Слава Кобыла. От слов Ермолова он чувствовал в груди распирающее и этакое воспарение над серой обыденностью.

Завершил свою речь Ермолов предположением о скором возрождении в России царской династии.

Токарев, ведущий радиопередачи, предоставил слово Кобылину, и учитель труда, а ныне дворянин и предок московского боярина Кобылы, грассируя и слегка растягивая окончания слов, поведал слушателям о том, что в Европе отыскался династический потомок российских государей.

По телевизору уже показывали предполагаемого будущего царя — пухлого, любовно раскормленного мальчугана, стоявшего рядом с очень полной мамой. Мама и сын были явно восточных кровей: черноволосы, горбоносы, с

огромными навывкате глазами. Языка своих славянских предшественников они не знали. Оглядывали московские и питерские царские хоромы с лёгкой ошарашенностью во взорах. Кандидат в российские государи от долгих экскурсий устал. Он жался к матери, зевал, прикрывая пухлой ладошкой рот, ему хотелось кушать.

Сообщалось, что в программе визита царственных особ в Россию, кроме Москвы и Петербурга, значились города Екатеринбург — место убийства последнего русского царя, и Дольск, который царь-мученик благодетельствовал своим посещением, отмечая трёхсотлетие царственного дома Романовых.

Побывать в Екатеринбурге потомкам не случилось. Причина? Бывший первый секретарь Свердловского обкома партии, а ныне президент России, видимо, хватя лишнего, приказал разрушить дом, в котором царскую семью погубили. Этим он провидчески расчистил место для собственного мемориала, который будет сооружен в городе после его смерти. Но это будет потом, спустя годы...

Не привезли царских особ и в Дольск, так они и не увидели обшарпанные, без куполов и крестов храмы по дороге в городок. В Дольске, кроме некоторой музейной вылизанности двух монастырей да сверкающего храма раскольника Никодима, большинство слободских церквей скалились гнилыми рёбрами кровель, удручали взор обезглавленностью и бескрестием. Этот вид опечалил бы робкие царские сердца и, может быть, привёл бы к мысли: «А надо ли взваливать на себя тяжкую царскую долю в России?»

Улетела царская делегация в живительные природные заграничные места. Видимо, ждатель лучших времён.

Российских дворян этот визит вдохновил и обнадёжил. Впереди забрезжило монархическое будущее России. И в этом будущем им, дворянам, уготована главная роль в жизни окоронованного государства.

Вдохновилась и дольская дворянская ячейка, представители её стали часто выступать по радио и в газете. А дворянин Ермолов даже баллотировался в депутаты городского совета, но по голосам проиграл демократу-простолюдину Токареву.

Через восемьдесят лет после визита в Дольск государя императора случилось в городке почти равнозначное этому событие...

22

Новый год баба Катя Широлесова отсчитывает по Рождеству. А на нынешнее Рождество она расхворалась; не поймёшь, что за хвороба такая: слабость, с кровати подняться — мука, болят все косточки. Так и сказала врачу, вызванному сыном.

Бабе Кате восемьдесят девять. Сыну далеко за шестьдесят. У бывшей снохи другая семья. Внуки и правнуки далеко.

Врач, красивая женщина с тонким лицом и гладко зачёсанными волосами, прослушала бабу Катю, измерила ей давление, с профессиональной бодростью успокоила:

— Ну, вы ещё молодым!

Но бабу Катю не проведёшь: «Видать, пришла и моя пора», — подумала и, как всегда, словоохотливо, с надеждой, что ей не откажут по причине возраста, попросила:

— Ты мне, дочка, дай каких-нито порошков, чтобы я Рождество в церкви отстояла, а после и не беспокойся. Вон в телевизоре какие порошки показывают, от всех болезней, — и, не дожидаясь ответа, словно чувствуя, что вряд ли такие средства есть на самом деле, она, вглядываясь в лицо врача не по возрасту зоркими глазами, перевела разговор: — На кого-то ты похожа, а на кого, и не вспомню! Ты наша ли? — Так баба Катя определяла, местного происхождения человек или приезжий.

— Савостикова моя фамилия, — улыбнулась женщина.

— Савостикова! — неприятно удивилась баба Катя. — А по какой же ветке такая красавица? Савостиковы, чай, все дурнущие...

— Мама, ну опять ты исполнять начала... — упрекнул её сын.

— А разве я не правду сказала? — искренне удивилась баба Катя. — Я, чай, дочку не обижаю. Она вон хоть патрет пиши! А Савостиковы — тутошние, я их всех знала, какие-то перекосенные, невзглядистые, а характером — прости господи — говнистые...

Врач нисколько не обиделась, засмеялась весело, по-девчоночьи:

— Я по мужу — Савостикова, а по отцу — Дыбина. Папу моего Василия Михайловича, может быть, знаете?

— Да, я и говорю! — оживилась баба Катя. Она села на кровати, прикрыв ноги одеялом. — Вася Дыбин! Как не знать! Ты на него похожа, а я и смотрю — в лице что-то проглянуло! Жив ли он?

— Жив! Девятый десяток пошёл.

— Вон как... — ушла в память баба Катя. — Хороший человек, не то что Савостиков — разрушитель. Ты уж извиняй, а я скажу: Савостиков вон эту церкву разорял, — кивнула баба Катя на окно. — Мне тринадцать лет было, а как будто вчера. Говорят, всё живёт свёкор-то твой?

— Девяносто два года ему, — сказала врач, садясь за стол и собираясь выписать рецепт. — А я в разводе с мужем, — скороговоркой закончила она.

— Ну и правильно сделала! — с ходу подхватила баба Катя.

Женщина-врач засмеялась.

Меркурий, сын, с упрёком закачал головой и словно оправдываясь.

— Вот ты меня и вылечила! — сказала баба Катя. — Не выписывай мне ничего. Я сроду порошки не ела. Вон травки заварю и попью с медком. С людьми поговорила — и легче стало...

Уехала скорая, ушёл сын. Баба Катя села к окну и в не замерзающую створку стала глядеть на вечную в её жизни церковь, ставшую родной глазам и душе за долгие годы жизни.

Весть о том, что крохотный старорусский городок посетит президент, полыхнула в одночасье и забылась в хлопотливых провинциальных буднях. Много приезжало в городок всяких высокопоставленных. С сиренами и мигалками проносились они по главной улице в туристический центр — место приема знати. Жители привыкли к таким проездам. «Опять какие-то черти приехали!» — перекинутся на автобусной остановке старушки да тут же и забудут.

Но на этот раз предчувствие приезда высокого гостя стусилось в атмосфере. Какое-то незнакомое шевеление стало происходить в городке. В конце декабря вдруг стали белить торговые ряды — благо, погода нерешительно топта-

лась около нулевой отметки. На въезде перед разрушавшимся, уже слепым, без рам домом соорудили высоченный забор из еврейки и водрузили рекламный щит с красномордым полуголым мужиком, держащим в руках берёзовый веник и деревянную шайку, ниже — о прелестях банных процедур, адрес, где их можно получить. Старые покосившиеся домишки на центральной улице затянули новыми щитами с нарисованными окнами. В окнах сидели нарисованные толстые кошки с человечьими улыбками на широких мордах, рядом с ними стояли горшки с развесистой геранью неестественно красного цвета.

Перед Новым годом повалил снег и окончательно облагородил городок: присыпал стихийные свалки и помойные сливы, загладил неровности щерблённых заборов. На Рождество снегопад прекратился, настала в природе морозная прозвонистая ясность, какая бывает зимой только в маленьких, не прокопченных ещё до конца гарью русских городках.

Во второй половине предрождественского сочельника, когда в храме было всё готово к навечерию, вертолёт с президентом опустился на расчищенную площадку возле объездной дороги, где его уже ждали десятки машин. Чёрные джипы, «Мерседесы», «Волги», «Жигули» стаей обложили площадку. «Сам» шустро выскочил из вертолета, окинул глазами морозную неуютность чистого поля и юркнул в лоснящийся нагретый джип. Дружно взвыли двигатели, заиграл сигнальный свет на милицейских машинах, ошарашила тишину сирена — эскорт рванул по намеченному маршруту.

А в посадской церкви уже ждали гостя. Именно эту церковь выбрали для рождественского чина президента. Здесь уже собрались отобранные люди.

Была директор, которая до Перестройки усердно лизала лысины и обворожительно улыбалась партийным и прочим высокопоставленным людям, мордовала сотрудников атеистическими чтениями и политучёбой о построении развитого социализма, а после успешно продолжала свою энергичную деятельность в качестве жертвы коммунистического режима.

В трепетном предчувствии стояла руководитель учебного заведения, которая в молодые го-

ды в голом виде фотографировалась на колоды карт, а теперь изображала из себя эталон нравственности — усердно обозначала на себе крест сухими маникюренными пальчиками. Помнила из церковных писаний, что Христос всегда заступался за грешниц.

Рядом застыл почётный гражданин города Николай Савостиков. Он не поднимал глаз на иконы, словно боялся, что сейчас кто-то всезнающий вытянет палец на него и крикнет: «Вот он, разрушитель!» Крестился Савостиков кулаком — словно с пудовой гирей поднимал руку к изморщенному лбу.

Были здесь и другие грешники, напротив позабывшие о своих грехах и сейчас творящие очередной временный обряд для посвящённых лиц, не имевший к повседневной жизни никакого отношения.

Городская и областная милиция окружила храм плотным кольцом. Рядом горожане и «крепьши в штатском». Все ждали явления, и оно состоялось.

С десятков автомобилей возникли из снега. Разом открылись двери, выпрыгнули из нутра машин крепкие мужики — человек двадцать. Зеваки подвинулись было вперёд, но милиция матерно осадил их. Из джипа вышел президент и сразу же был окружен высокими мужиками.

Зеваки сделали ещё одну попытку прорваться к окружению с намерением вживую лицезреть человека, которого видели только на экране телевизора, и снова не получилось — милиция сдержала напор. На паперти кольцо охраны вытянулось, всосалось в дверь вместе с президентом, и двери захлопнулись.

Опоздавшая прихожанка баба Катя попыталась пройти к дверям, но её не пустили.

— Да как же так! — говорила она. — Я, чай, рядом живу... Я — на службу...

Но ей посоветовали идти домой.

И началась Рождественская служба — точно такая, как и в других православных храмах на Руси, но здесь она отличалась тем, что в маленьком приходском храме со свечкой в руках стоял президент.

Местная власть с покорной обречённостью держала в руках свечи.

А в это время в алтаре за царскими вратами по

тяжёлому, шитому серебром покрывалу престола карабкался с пола наверх большой серый мыш. Он так ловко цеплялся проколистыми коготками за витое узорочье, что забрался на верхнюю гладь престола в полминуты. Его не отвлекала ни почувствованная им многолюдность в храме, ни запах кадильных благовоний. Мышь был здесь хозяином. Он ведал ходы и лазейки, в секунду мог юркнуть от опасности в невыслышимой узине шелку и тайными ходами выползти с другой стороны алтаря. Чья воля занесла его на это святое место? Какие потребности тварного мира определили его на эту высоту? Поди узнай! А мыш скользнул по антиминсу, потыкался длинным влажным носиком в губку — выщупал и грыз остренькими зубками остатки частиц «тела Христова» — схрумкал кусочки просвирок. Скользнул мыш к дарохранительнице, вытянулся вверх по стенке, учуял недостижимую добычу, скрытую в ящичке нижней части сосуда, с досадливой судорожностью попытался найти хоть какой-нибудь крохотный пролаз вверх дарохранительницы — не нашёл. Дергунисто полазил по напестольному кресту и, уверившись в полной безопасности своего рыскания по святым местам, взобрался на Евангелие, встал серым столбиком и замер, вжав лапки в белесый пушок на груди. И так стоял серый мыш — таинственно, необъяснимо в самой середине православной святыни и глядел зоркими чернушками глаз на честной люд, толпящийся перед престолом со свечами в руках.

Спугнул его батюшка, по канонам праздничной службы направившийся на обход престола. Серый шнурок мышинового хвоста змеисто юзнул по бархатному покрову и скрылся невесть в какой схоромине.

Движение мыша заметили несколько человек, но не поверили своим глазам: уж слишком противоестественным и неправославно чернознаковым было это мышиное восхождение на святой престол, а потому лишний раз перекрестились увидевшие и постарались отвлекать свои мысли.

И президент заметил серое скольжение по престолу, но, посчитав это признаком усталости, закрыл глаза на несколько секунд, а когда открыл, то ничего постороннего не увидел.

О чём может думать человек, волею судьбы за-

несенный на этакую высоту и стоящий теперь со свечкой в руках в маленькой бедной церквушке? Никто не скажет. Да, пожалуй, и он сам не сможет сказать не лукавя, как на духу. Конечно, можно надумать всякого! И что-де думал он в эти минуты о судьбе народа, о том, как мучительно и неуютно живётся ему в большинстве своём на собственной земле, о воровстве и лихоблюдстве чиновников, о безбожности душ молодого поколения, отравленного вседозволенностью, словно нутро палёной водкой, о той неисчислимой грязи и мерзости, свалившейся на Россию благодаря «титанической» работе его предшественников.

А может быть, он думал о спасении собственной крохотной души православного человека, о чём только и должен думать человек, стоя в храме перед алтарем? Душа после его кончины воспарит, влекомая ангелами, к престолу Божьему, только потому, что приобщился он святых тайн не в роскошных, застывших глаза золотым сверканьем столичных храмах, а в крохотной посадской церкви, намоленной бедным грешным посадским людом. Может быть, такая мысль привела его сюда? Мол, такой же я православный, как и вы, и сделаю все, чтобы народ жил боголюбно, сытно, чтобы соизмерял дела свои со своей душой. И это в моей власти, пока я на её вершине!

Такова уж извечная надежда русского человека на правителя: он лучше, умнее нас всех. Если он говорит нам и призывает к чему-то, то это истина в последней инстанции, и мы пойдём в указанном направлении на свет этой истины! А если вместо истины — серый мыш?

Завершилась служба. Выдавилась из храма толпа охраны и сопровождающих, сели в машины, и рванул эскорт в недостижимые дали столиц. Покинули храм местные начальники и приближённые. Храм опустел.

После ясного, с коротким солнечным проглядом дня, какой бывает каждый год, как добрый знак Рождества Христова, пал на городок снег, и шёл он с короткими перерывами до Крещения. Огладил, обелил город. Зарылись в белые сугробы деревянные домишки. Церкви плыли в снежных потоках. Посадский храм отгородился от улицы снежным валом, только узкий проход вёл к паперти. Неестественным ка-

зался визит президента. Горожане через неделю и вовсе перестали говорить об этом.

Священник, заметивший мыша, сделал внушение старосте прихода. Она, удивившись этой невидалью, принесла в храм три мышеловки и кошку, но тот так и не попался. Староста решила, что бабушка по молодости лет обознался: зимой в храме мышей по всем природным законам быть не должно.

А на том месте, где стоял президент, через месяц отпевали бабу Катю, которую в сочельник не пустили на Рождественскую службу.

Баба Катя, узнав, что старик Савостиков стоял со свечкой в когда-то разорённом им храме рядом с президентом, слегла и не захотела больше жить.

Первого мая ушёл из дольской жизни Черпаков. Он прикрепил к велосипеду красный флаг и на первомайской демонстрации торжественно проехал перед трибуной на площади.

Диктор Александр Александрович взорвал над головой Черпакова свой испытанный годами призыв:

— Слава ветеранам войны и труда! Ура, товарищи!

Воодушевление воздушным шаром приподняло Черпакова над велосипедом. Это совпало с порывом встречного ветра, отчего трёхметровый флаг, притянутый проволокой к раме велосипеда, затрепетав, стал падать на Черпакова. Он правой рукой выправил древко, а левой напряжённо рулил. Неимоверными усилиями, сдержав флаг и велосипед, Черпаков всё-таки проехал перед трибуной, с которой прощальными улыбками приветствовали демонстрантов партийные и советские работники. Это была последняя в Дольске демонстрация с местными предводителями.

Черпаков свернул на боковую улочку за площадью. Напряжение из тела ушло, но в груди что-то продолжало трепетать, словно звук натянутой струны, когда её перестали трогать рукой, а она всё дрожит мелко, как будто идёт по ней ток. И вдруг эта струна лопается — боль в груди, нет воздуха, лицо и тело оплескивает холодная испарина. Черпаков подъехал к колонке с водой, надавил на рычаг, хлынула ледяная струя. Он сунул под неё голову и замертво упал на мокрую траву...

Такой толпы возле подъезда двухэтажного панельного дома, где жил Черпаков, городок не видывал. Многие плакали. И — удивительно — сквозь слёзы смеялись: вспоминали чудачества покойного.

Широлесов, услышав о смерти Черпакова, сначала не поверил, решил, что это его очередная глупая выходка. Позже лишь осознал, что он больше не увидит жёлтую тыкву головы Черпакова, его вечно удивлённые зелёные глазки под сборенным в три глубокие морщины лбом, никогда не выхватит взглядом издали приближающуюся на лёгких ногах сухопарую фигуру.

Теперь Широлесов зашёл в лютой отчаянной ругани. Живого Черпакова он никогда не материл, а сейчас обрушил на него упрёки такой силы, что, превратись они в жизнеподъёмный целебный эликсир, он бы выдернул Черпакова из смертного одеревенения, заставил бы его открикаться и оправдываться, словно Черпаков и в самом деле придумал смерть свою по глупости, не посоветовавшись ни с кем, в первую очередь — с мудрым другом, поэтом-соперником Широлесовым.

Ругал он Черпакова прилюдно. Оставаясь же один, замирал и уходил в себя, в свою память — туда, где невозможно соврать, притвориться, где нет других собеседников, кроме самого себя и собственной души. Наверно, это было ощущение артиста после исполнения своей роли: поизображал чужую жизнь и вернулся в свою — единственную, настоящую. И в этой настоящей жизни понял, что неожиданно лишился золотой её крупницы. Незаметно выпадали из глаз слёзы. Широлесов пугливо стирал их со щёк и шёл на улицу к людям, где можно было снова громко ругать Черпакова, но уже потише, не так яростно и зло.

23

В конце мая вместе с жёлтыми одуванчиками появились на городских лужайках стайки кришнаитов в бледно-розовых одеждах.

Они приехали из областного центра на автобусе, вышли у заставы и направились по центральной улице босиком. В руках у них были буб-

ны и монасты. Они пели хором гимны, прославляющие далёкого от Дольска бога Кришну, о котором многие горожане услышали впервые. Особенно часто пелась фраза «Харри Кришна!». У кришнаитов были бритые головы. У некоторых черепа ещё не загорели — это шагали сектанты-новобранцы. Лица большинства были славянского производства: щекастые, курносые, светлоглазые. В группе было двенадцать молодых мужчин. В скверах на лужайках они садились в кружок и продолжали петь.

Вокруг них собирались горожане и обсуждали пришельцев.

— Дак они везде в этих простынях? — спрашивала пожилая женщина.

— В Индии — ходят! — отвечал просвещённый мужчина. — А у нас — придуриваются!

— Бездельники! — итожила женщина. — Им бы сейчас огороды копать. Вон какие мужичищи!

Главное сидение кришнаиты образовали у Дома культуры. Здесь они выставили афишу: «Приглашаем жителей города на встречу с представителями древнейшего учения загадочной страны Индии, которое явил землянам всемогущий бог Кришна. Будет представлена выставка-продажа книг, благоволий и приправ к экзотическим кулинарным рецептам!»

В фойе Дома культуры кришнаиты воскурили благовонные свечки, расставили яркие томики, разложили кулинарные приправы, развесили венки из белых лепестков. Воздух отяжелел от диковинных ароматов, после их ухода запах обитал в пространствах здания ещё дня три.

По слухам, на кришнаитскую жизнь соблазнились четверо дольских парней. Они ушли с розовым табором в областной город. Вернулись через неделю обритые, с иноземной задумчивостью в глазах, привезли книги с учением Кришны и по три метра розовой ткани. Из неё в мастерской индпошива удивлённые швеи изладили ритуальные кришнаитские одеяния. Парни стали регулярно ездить в областной центр постигать экзотическую религию.

Следующим паломником в землю дольских аборигенов стал протестантский священник Джон Гордон из Канады. Это был высокий светловолосый красавец с желтокудрой головой и бородой, ослепительно улыбочивый и весёлый.

В свите Гордона были три женщины в раскованных одеждах. Их не закрепощенные лифчиками груди украшали большие серебряные крестики на золотых цепочках. Гордон представил их как сестёр во Христе.

Канадский священник арендовал помещение Дома культуры на три дня. В фойе с невысокой сценой он и проводил показательные молебны.

На первое представление пастырь вышел с круглой гитарой, похожей на сковородку с длинной ручкой, и сказал вступительное слово. Для канадца он говорил на подозрительно правильном русском языке, иногда для шика ввёртывал слова молодёжного сленга, словно он долго жил в ивановско-владимирской глубинке. Иногда, словно вспомнив, что он иностранец, пастырь начинал изображать акцент, который походил более на прибалтийский, чем на канадский. Он рассказал о том, как служат Христу протестанты, какие у них молебные дома и обряды.

Потом на сцену к пастырю вышли три не до конца одетые женщины. Джон Гордон ударил по струнам, и они запели молитвы на русском языке. Пели они слаженно, стройно. Женщины пританцовывали и хлопали в ладоши. Груды и крестики у них свободолобиво подёргивались, приковывая внимание мужчин из публики. Джон пел красивым баритоном, улыбался и озорно подмигивал симпатичным женщинам, которых занесло в Дом культуры. В завершение этой службы-концерта пастырь предложил слушателям организовать в городе курсы сторонников протестантской веры, пообещав, что в течение месяца он будет учить курсантов молебнам и обрядам. По мере постижения протестантской науки нужно будет делать в это вольное сообщество денежные взносы, и чем они будут больше, тем быстрее снизойдет протестантская благодать в «руци дающего».

В сети канадского священника попались три горожанки. Все они были одиночками: две — разведёнки, третья жаждала найти мужчину-мечту, и он воплотился для неё в Джоне Гордоне из Канады. Две женщины вложили все свои немалые сбережения в протестантскую благодать. Третья поклялась самозабвенно служить Джону, и, так как была молода и хороша

собой, Гордон великодушно принял её послушание.

Не создав в Дольске ячейку (необходимо было завлечь не менее семи последователей), свита Джона Гордона, прихватив и трёх дольских мечтательниц, спешно отбыла в иные неосвоенные пространства России.

Только после отбытия протестантской бригады дольское сообщество почувствовало будоражащий запах мошенничества. Более всего возмутились тем, что одна из соблазнённых женщин была школьной учительницей, вела математику и физику: то есть умела считать деньги и должна была быть материалисткой. Как теперь объяснить детям проступок учительницы? Вторая работала в Доме культуры, была скромной, мечтала о ребёнке, но через православную службу Господь ей дитя не давал, и она решила выпросить его усердным протестантским служением.

Горожане обратились к стражам порядка. Через месяц в газете «Дольская новь» получили официальный ответ милицейского начальника. Суть напечатанного такова: никакого канадца-протестанта Джона Гордона не существует в природе. Оказывается, в такой личине явился дольцам жулик Фёдор По́носов, имевший в послужном списке три отсидки за мошенничество. После третьего срока он и стал «святым протестантом».

В начале своей религиозной карьеры Федя объявил себя мормоном. Это учение было таинственным и редким для российской глубинки, но никакого барыша не принесло. Федя отсидел первый срок и ушёл из мормонов. Организовал секту псаломщиков, не запрещённую законом. Стал ездить по стране и петь акафисты Христу и Деве Марии. Женщины же, вовлечённые в круг Феда По́носова, дали показания, что пожертвования от них были добровольными.

Два пришествия в городок — кришнаитов и протестантов — пагубно отразились на третьем и последнем пришествии непознанных святых сил в Дольск.

Подготовка к нему началась за две недели до явления. На столбах, щитах и заборах городка появились небольшие афишки, в которых говорилось о том, что через семь дней явится в

Дольск земное воплощение бога Христа «Христос Дева Мария». Снизойдёт оно опять же в городской Дом культуры в воскресенье в двенадцать часов пополудни.

Не искушенные в перевоплощениях Господа горожане сомневались у афиш: «Это что же, Христос в женщину перешёл? Разве такое есть в Писании?!»

Спросили у батюшки Никодима. Он обозвал любопытных «олухами царя небесного» и добавил:

— Сколько же вас, ослов, прости Господи, учить надо! Бесовские искушения распознать не можете! Почаще лбы крестите! Блудница безбожная объявилась, а вы рты раззявили!

— Дак блудницу Христос оправдал и в рай пустил! — поспорили с Никодимом кое-кто знавшие в Писании горожане. — Может, Бог и поручил ей сейчас в наш мир явиться. Вон сколько блудниц развелось — и по улицам, и в телевизоре!

— Раскаившихся пустил, да не выпустил! — прикрикнул Никодим. — Этот блуд сатаной явлен! Так что подотрите слюни, а то сгниете в похоти!

— Страх-то какой, батюшка, накликаете! Чай, вон в грамотках написано. Что ж, не верить написанному?

— Блуд рукой пишущих водит! Эти грамотки сорвите да ... подотрите! — по-свойски дал совет батюшка Никодим.

Христос Дева Мария город не посетила. В канун её явления при развешивании очередной порции афиш два посланца Девы были пойманы членами новорожденной дольской ячейки «Русые волосы».

Посланцев — это были два безработных выпускника индустриального техникума, пацаны тихие, с некоторой придурью на лицах, — мускулисто-накачанные «русые волосы» завели в подвал, заставленный самодельными спортивными тренажёрами, и стали громко друг с другом обговаривать способы казнения «ангелов Марии».

— По гантеле к яйцам и десять приседаний каждому! — сказал один.

— Восьмикилограммовых? — спросил другой.

— Оторваться и пяти хватит! — сказал третий.

— Нет! — сказал четвёртый — главный. — Их на-

до перекрестить в другую веру — в иудейскую...

— Это как? — спросил первый.

— Проще не бывает, — сказал главный. — Сделать им обрезание...

— Точно! — сказал первый. — Быстро и надёжно. Обратного не раскрестятся — не пришьют...

Хохотнули.

Первый принёс ножницы и лейкопластырь:

— Ну, кто желает первым в новую веру? — звонко пощёлкал ножницами.

Посланцы «мессии» побелели. Совсем по-земному стали просить дрожащими голосами:

— Да вы что, пацаны! Мы же подзаработать! По пятихатке получили вчера, а дел-то всего — афишки наклеить! Простите нас, мы из Иванова, у нас все фабрики стоят, работы не найдёшь...

— Вы сами-то видели эту Марию? — спросил главный.

— Да, да, — закивали посланцы.

— И как она? — настойчиво спрашивал главный. — Молодая или мухомориха?

— Наверное, лет тридцати, — словоохотливо отвечали посланцы. — Глаза какие-то белые, вытарашенные, а остальное всё — в балахоне, ничего не видно! Всякие молебны творила, обещала грехи каждому простить, от болезней заговаривала... Мы и согласились подзаработать, плохого никому не делали... Отпустите нас, пацаны!

— Ладно! — милостиво сказал главный. — Обрезать мы вас не будем: не достойны вы иудейской веры. Но послание вашей Деве отправим...

«Русые волосы» обрили посланцам головы, и на их гладких розовых темечках один из русоволосых, выпускник художественного училища, нарисовал тушью ото лба до затылка мужское хозяйство с причиндалами. Сказав на прощание: «Кланяйтесь от нас вашей Деве!» — посланцев отпустили.

Дошла ли эта весть до самозванки — неизвестно. Только она изменила маршрут своих явлений. Отправилась лечить души и отпускать грехи жителям Сибири.

В Дольск потянулись жулики попроще. Предлагали чудесные лекарства от самых лютых болезней. Горожане пили воду, заряженную невероятной целебной силой. Предлагались им аппараты, одно прикосновение кото-

рых омолаживало на десятки лет. Потом нагрянули в город рабочие крахмалопаточного завода. Четверо хмурых мужиков на «газели» с тентом привезли в Дольск зарплату за месяц работы — трёхлитровые банки с золотистой тягучей патокой; называя её мёдом, они продавали задёшево. Дольцы мигом раскупили сладкую жижу. А когда старые люди объяснили, что это не мёд, «газель» с торговцами была уже далеко от города.

После каждого явления в город жуликов в газете и по радио выступали руководители районной милиции с настоятельной просьбой не поддаваться на мошеннические уловки. Но преступники шустро внедряли в жизнь новые изобретения по присвоению чужих денег и ценностей.

24

Первый дольский «олигарх» проклюнулся, словно яркий цветок посреди свалки, — из повседневных отбросов, над которыми не утруждали себя размышлениями простые горожане, тогда — ещё по инерции — советские люди. Им не приходило в голову, что можно разбогатеть на посуде, а точнее — на стеклянной таре.

Первым в Дольске мысль об этом источнике обогащения пришла в голову старшему сержанту районного отдела милиции Олегу Гуськову.

Утром жена Гуськова с отчаянным надрывом выкрикнула на кухне:

— Господи! Из чего готовить?! Ни мяса, ни картошки! — она села на табуретку и заплакала.

Третий месяц Гуськовы не получали зарплату. Жена работала в поликлинике медсестрой. Пыталась перейти в райбольницу — там хоть казённые харчи, — но все места были заняты.

В райотделе милиции сначала обещали дать аванс «завтра», «послезавтра», а потом и обещать перестали. Но дисциплину соблюдать требовали.

Гуськов служил в ППС. Он с двумя сержантами патрулировал улицы городка: задерживали хулиганов, подбирали пьяных и отвозили их в вытрезвитель. Иногда при обыске случалась удача — находили в карманах невменяемых на-

рушителей деньги. После дежурства делили удачу на троих. Тогда Гуськов покупал в магазине еду и приносил жене, дочери-старшекласснице. Нервная весёлость появлялась в доме.

Сегодня был выходной, и выкрик жены спровадил Гуськова в подвал. Он всегда уходил туда от упрёков, ругани и всякого другого семейного шума. В подвале у Гуськова был оборудован верстак с сантехническими инструментами, стоял топчан с бугристым сальным матрасом. На стене висел радиоприёмник с одним вертушкой. По углам и стенам кучились свёртки, мешки и мешочки с отслужившими свой срок вещами.

От хлопа подвальной двери со стены обрушился рваный пластиковый пакет, из него выпал ссохшийся кирзовый сапог. Голенище медленно, словно живое, расправилось и напомнило Гуськову вольготную и сытую доперестроечную жизнь, когда он глянцевадил сапоги гуталином и проходил в парадном строю вместе с товарищами милиционерами по главной улице перед трибуной с местными вождями и кричал: «Ура!» А потом было застолье с водкой и мясом. Именно замаринованное мясо с луком и уксусом, как ни странно, напомнил Гуськову похудевший сапог. Он почувствовал обиду на себя, жену, свою работу, всю жизнь... Гуськов поднял сапог за голенище и швырнул его в дальний угол подвала, а оттуда отозвался ему стеклянный звон от удара по высокому полиэтиленовому мешку.

— Все углы говном завалены! — зло сказал Гуськов и выволок мешок. Он под завязку был забит посудой.

Гуськов развязал его, вынул бутылку из-под водки. Она была до прозрачности чистой. По дуге доньшка скользнула струйка недопитой водки. Гуськов свинтил крышку, нюхнул — изнутри выпорхнул живой запах. Сколько лет валялась и не протухла! Гуськов глядел на этикетку, вспоминал, когда же он угомонил эту бутылку. Не вспомнил. Но вспомнил зато окольный вход в магазин, где принимали стеклотару, очередь мужиков с сумками. Те, нагруженные бутылками, мрачно подходили к приёмному окну и весело отходили належке — уже с деньгами.

Гуськов рассортировал посуду в два мешка.

Из-под вина, водки и пива — в один. Молочные и банки — в другой. Два полмешка он выволок из подвала к подъезду. Сходил к тётке Маше из первой квартиры за тележкой, сооружённой из детской коляски. Сказал, что решил вычистить подвал и увезти на свалку мусор, а сам повёз мешки в приёмный пункт.

Приёмщица, пожилая женщина в заплаточном чёрном сатиновом халате и жёлтой бейсболке с пришитой к лобовому подъёму кепки красной матерчатой звездой, окрикнув мужиков добрым матюжком, ставила тару в деревянные ящики. Когда ящик наполнялся, из подсобки возникала другая женщина, моложе и крупнее приёмщицы, с зелёной банданой на чёрных волосах. Она легко брала ящик с посудой и уносила его в темноту. «Галья-лошадь», — шепнул мужик за спиной Гуськова. Работали женщины с размеренным спокойствием.

Три ящика наполнила приёмщица из мешков Гуськова, а когда он начал выставлять литровые банки, спросила:

— И банки сдаёшь?

— А куда они... — ответил Гуськов.

Женщина промолчала.

Подошла вторая и унесла банки.

— По двадцать копеек литровые, — сказала приёмщица, выжидательно глядя на Гуськова.

— Ну и хорошо! — ответил Гуськов. — А то бы выбросил... Может, вам ещё банок принести? — спросил Гуськов. — Завтра мешок наберу!

— Мы завтра уже не работаем, — ответила приёмщица. — Закрываемся. У магазина новый хозяин!

— А кто посуду принимать будет? — озабоченно спросил мужик за спиной Гуськова.

— Не знаю! — ответила женщина. — Может, своих поставит, а может, совсем закроет. Теперь хозяева решают...

Гуськов получил шесть с гаком рублей. В магазине — удача всегда неожиданна — урвал палку колбасы и две банки рыбных консервов.

Домой Гуськов пришёл в озабоченной задумчивости. Он не разделил радость жены по поводу его добычи.

— Так, скроил немного... — отмахнулся он на вопрос о деньгах.

— Почаще бы кроил! — похвалила жена.

Гуськов хотел поругаться, но передумал.

На работе он осторожно расспросил сослуживцев о перспективах развития стеклянно-тарного дела в городе в новой экономической ситуации и понял, что если он начнет дело прямо сейчас, то будет без конкурентов.

Он встретился с директором, а теперь хозяином большого продовольственного магазина и предложил ему открыть приёмный пункт. Хозяин согласился. Похлопотав с месяц, оформив арендные документы, Гуськов стал владельцем стеклоприёмной точки. Он и не предполагал, что в нём таился до поры талант предпринимателя, а по-русски — что греха таить! — барыги.

«Барыга» — слово двоякого смысла. Произведено от слова «барыш» — выручка, доход, навар, прибыль. Выходит, барыга — человек, который своими действиями этот барыш получает. Но в русской жизни барыга имеет мутные очертания. Часто к этому слову пристраивается значение «пройдоха» — жулик, обманщик, спекулянт.

Гуськов внутренним чутьём уловил начало барыжного периода. Может быть, от того, что произошла в их повседневной милицейской жизни очень ловкая подмена. Убрали слово «спекулянт» (статья в Уголовном кодексе) и на его место внедрили — «предприниматель». Теперь не отлавливали милиционеры на городском рынке бабушек, торгующих прибалтийским трикотажем или ивановскими пельменями, не заводили их в отделение, не изымали из тяжёлых сумок платки, чулки, колготки. Наступила пора свободного торгового творчества.

Гуськов оформил ЧП на жену. Сначала она возмущалась, отнекивалась, плакала. Ей было жалко уходить с медицинских копеек на фантазийные прибыли мужа. Но после первого месяца незнакомой и тяжёлой работы они пересчитали принятую посуду, вычли разницу между приёмной ценой и той, по которой они сдали посуду на областные ликеро-водочный и молочный заводы. После этого жена Гуськова притихла и стала загадочно улыбаться. А сам Гуськов подал рапорт и ушёл из милиции.

Свежим взглядом оценив околосудную жизнь, Гуськов обнаружил некоторые особенности дела и решил использовать их в своём предпринимательском быту. Он решил отк-

рыть кафе рядом с приёмным пунктом. Поговорил с хозяином магазина, тот одобрил — выгодно и ему. И скоро летнее кафе под трафаретным названием «Ветерок» распахнуло стеклянные двери. Местный художник-оформитель изготовил вывеску, на которой была изображена пивная кружка с пенными кудрями, рядом — полнокровный красноликий мужик, показывающий загогулину большого пальца. Внизу красными буквами тарачился призыв: «После работы здесь оставь заботы!» И оставляли, причём не только после работы и не только заботы, но и деньги.

Через приятелей-участковых Гуськов разведал, что в сёлах нет приёмных пунктов. Он арендовал грузовик на местном автопредприятии, бросил в кузов десять ящиков под будущую стеклотару и без особых надежд поехал в ближайшее село, остановился там у магазина. Раздвинул складной столик, поставил рядом два тарных ящика, на борт машины повесил картонку с заранее написанным объявлением: «Принимаем посуду! Любую!» Цены за бутылки и банки ниже, чем в городе, в два раза.

Посмотрел Гуськов на мёртвую улицу: ни единой живой души, даже собаки не бегали. Только у оврага в зарослях двухметрового одеревеневшего борщевика что-то возилось, чавкало и хрюкало.

— Пролетел! — сказал Гуськов арендованному шофёру — грузному пенсионеру с заспанным лицом. — Даже аренду не окупишь!

— Погоди маленько, — успокоительно сказал шофёр. — Не расчухали ещё...

За три дома от магазина стукнула калитка, вышел мужик в клетчатой рубашке, подтянул свинчатые набок камуфляжные штаны размера на два больше нижнего естества мужика. Наклонившись, сунул руку в карман штанов, который приходился ему под коленки, достал сигареты и закурил.

— Эй! Посуду неси! — закричал Гуськов и замахал рукой мужику.

Тот, шаркая разваленными сандалиями, пошёл к столику.

— Посуду принимаем! — сказал Гуськов, глядя в безразличные глаза мужика.

— Хде? — спросил тот хриплым голосом.

— Да вот здесь! — ткнул пальцем Гуськов в

раскладной столик. — У вас, я вижу, стеклотарного приёма нет.

Мужик оглянулся на улицу, словно хотел удостовериться, что такого пункта здесь действительно нет, но, перехватив взгляд Гуськова на дальние дома, снова спросил:

— Хде?!

Гуськов хотел ответить мужику в рифму, но сдержался.

— Если у тебя есть пустые бутылки, тащи! — доходчиво сказал Гуськов. — Я заплачу! — и назвал цену.

— Счас! — сказал мужик и, подвинтив штаны на поясе, ушаркал в свой дом.

Минут через двадцать из калитки показалась спина — мужик пятился, выкатывая тележку с огромным холщовым мешком.

— К обеду народ появится! — повеселевший, сказал он, пересчитывая деньги.

И верно, в обед прорвало! Один за другим, громыхая и звякая, с мешками на тележках и в руках потянулись сельчане к Гуськову. Он едва успевал заряжать ящики бутылками. Через час все привезённые ящики были заполнены, но продавщица сельмага вынесла ещё с десяток — мол, забирайте, всё равно сожгу! Заложили посудой и эти ящики. А люди шли и шли. Тогда Гуськов с шофёром решили загружать посуду в кузов навалом — забивать пространство между ящиками.

— Всё! — сказал шофёр, принимая последние бутылки. — Под завязку! Боле нельзя...

— Зря время потеряли! — расстроились сельчане с узлами. — Когда ещё приедете?

Договорились на завтра. И на следующий день машина заполнилась стеклотарой. Посудный ручей в селе иссяк к концу второго дня, когда мужик в камуфляжных штанах прикатил на тележке ватные одеяла, рваные пальто и армейскую шинель, источенную молью.

— Тряпье не берём! — возмутился Гуськов. — Ты же видишь: у нас — посуда!

— А мне куда?! — так же возмущённо сказал мужик. — У вас одна шарашка, вот и заброшишь им. У меня хоть сарай очистится...

— Обнаглели! — сказал шофёр, закрывая борт. — Ничего не понимают. Тащат всякую гниль! — и повернулся к мужику: — Тряпичники приедут, им и сваливайте!

— Хде тряпичники?! — неизвестно кого спросил мужик и, матерясь, потянул тележку обратно на свой двор.

Рейды по сёлам дали Гуськову ощутимые деньги. Им овладел азарт. Он решил расширить денежный промысел. Оформил в аренду подвальчик в торговых рядах и открыл кафе под завлекательным названием «Глоточная». Здесь на разлив в стопочках подавали выпивку с лёгкой закуской. Жена Гуськова готовила на зубок: бутербродики с колбасой, сыром, салом, рыбой, огурчиками, помидорчиками — всё это оформлялось в аппетитные пирамидки, а на самом верху их зеленели маслинки, проткнутые острыми деревянными зубочистками.

Гуськов подсчитал: каждая вторая стопочка и третья закусочная пирамидка превращались в чистые деньги.

Через полгода он открыл ещё одно кафе с горячими блюдами. Здесь начали столоваться туристы.

Дочь Гуськова после школы была втянута в семейное дело.

Стеклотарный промысел Гуськов не бросил. Он взял на работу приёмщиков, составил им график поездок по сёлам района.

У него уже была своя грузовая машина — новенький «ГАЗ». Появились у Гуськова и легковые машины. Сначала — жигулёнок-«копейка», потом — «шестёрка». После открытия второго кафе он купил «Ауди» и, наконец, млея от счастья, сел за руль новенького внедорожника.

Теперь в питейных и закусочных заведениях у Гуськова был штат: продавцы, повара, официанты, снабженцы. И, конечно, на первом месте была главбух — женщина опытная и расчётливая. «Баба — ухо резаное! — сказал, рекомендуя её, бывший руководитель налоговой инспекции, сосед Гуськова по даче. — Она любой документ так наладит, что хоть на зуб пробуй, — не придерёшься!»

Местный рэкет на Гуськова не наезжал. В кафе пили-ели его бывшие сослуживцы из райотдела, а это крыша самая надёжная.

Гуськов первый в городке купил две квартиры в двухэтажном кирпичном доме и сделал себе жилище в трёх уровнях: лестницей с коваными перилами строители соединили первый и второй этажи с подвалом.

Любопытные горожане ходили на короткие экскурсии к дому Гуськова, говорили, показывая на окна:

– Вон там живёт Гуськов. Какие хоромы отстроил на пустых бутылках!

К сожалению, Гуськов, как и многие начинающие провинциальные «олигархи», не выдержал испытания богатством. Он начал пить. Сначала понемногу и редко, а потом помногу и запоями. Жена и дочь боролись с бедой: Гуськова кодировали и зашивали. Бесполезно. Повезли к колдунье, которая, согласно рекламе, излечивала от пьянства и многих других напастей за один сеанс.

«Потомственная колдунья, наследница великих колдунов древности», как писалось в рекламном представлении, оказалась упитанной женщиной средних лет с огромными золотыми кольцами в ушах. Глянув на бесформенное лицо Гуськова, она покрутила над его головой руками и сказала, что одного сеанса будет мало: слишком велик зелёный змий, угнездившийся в утробе клиента. А за сколько сеансов эта алчная рептилия выбросится из организма, напуганная колдовскими силами, – этого никто сказать не может.

Колдунья завела Гуськова в комнату без окон. В середине её стоял круглый стол, на нём – блестящий островерхий купол. Перед столом был единственный старинный стул с изогнутыми ножками. На него и посадила Гуськова колдунья.

– Начнём с защиты на трёхступенчатый золотой купол, – сказала колдунья. – Это десятый обряд из трёхсот...

– Все триста примените?! – ужаснулся Гуськов. – Если по одному в день, так почти год...

– Вы должны довериться мне! – недовольно сказала ведунья. – Надо изгнать из вас нечистую силу и поставить защиту! Сейчас я выйду из комнаты и погашу свет, а вы не мигая смотрите на этот купол. – Колдунья снова сделала над головой Гуськова вращательные движения ладонями и вышла.

Свет в комнате погас, а купол загорелся жёлтым. Зазвучала тихая монотонная музыка. Минута, другая, десятая... Свет выдавил из глаз Гуськова слёзы. Тело начала сотрясать дрожь. Сначала – лёгкая, а потом Гуськова стало коло-

тит. Тряслись голова, плечи, руки, колени. Он пытался сжаться, унять дрожь – не получалось. Единственное средство от мандража – глоток! В нагрудном кармане у Гуськова на всякий случай пригrelась плоская бутылочка коньяка. А вдруг колдунья наблюдает за ним?! Да пошла она! Гуськов нетвёрдой рукой достал пузырёк, сорвал винтовую крышку и сунул горлышко в дрожащий рот. Лязгнули зубы о стекло. Коньяк скользнул в горло, провалился в желудок. Дрожь прошла, в голове появилась ясность, в душе – весёлость.

Музыка звучала наплывами: то тише, то громче. Сквозь музыку пробивались слова. Женский голос заунывно произносил невнятный текст. Отчётливо прорывался лишь выкрик: «Изыди!»

Гуськову стало хорошо. Он пожалел, что не взял закусь. Впрочем, конфетку в кармане нашёл. Теперь, уже не таясь, он вынул из кармана бутылку с коньяком, сделал пару глотков и поставил её на стол перед куполом.

Время шло, музыка звучала, голос бубнил, купол светился, Гуськов пил коньяк. Незаметно он убаюкался в глубокий сон, который уронил его со стула на пол.

Потомственная колдунья в это время разговаривала с женой Гуськова, изредка поглядывая на большие песочные часы, которые пересыпали песок времени из верхнего конуса в нижний. Колдунья дала жене Гуськова десять мешочков травяных сборов, рецепты отваров для Гуськова, тексты заговоров, которые надо произносить над этими отварами по утрам и вечерам.

Упала последняя песчинка в часах, и наследница древних колдунов двинулась в волшебную комнату к Гуськову. Жена клиента пошла за колдуньей со счастливой надеждой увидеть очищенного от бесовских чар мужа. Нечистая сила не вышла из Гуськова – она храпела в нём вольготным сытым храпом.

– Дак он вроде пьяный... – не веря глазам своим, осторожно произнесла жена Гуськова.

Потомственная колдунья была в ещё большем замешательстве. Она подскочила к раскинутому телу Гуськова и начала трясти его за плечи. Из рта болезного пахло коньячной гарью. Порожня бутылка из-под благородного

напитка на столе прислонилась к золотому куполу. Колдунья всё поняла и очень рассердилась. Она принесла какой-то флакончик с мутной жидкостью и сунула его в нос Гуськову. Голову его словно привздрнуло за ноздри. Он замотал ею, открыл глаза, увидел над собой женщину с круглыми серьгами и нависшей белой грудью. Гуськов разгульно улыбнулся, запустил ладонь в оттянутый лифчик колдуньи и запел громко, хрипло: «Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги!»

Получив от жены удар по щеке, Гуськов сел на полу. Непонимающе посмотрел на женщину. Жenu узнал, замер взглядом на потомственной колдунье и по-дружески спросил жену:

— Как я у б**** оказался?

Жена Гуськова заплатила колдунье за травы и моральный вред, который нанёс целительнице её муж, и увезла поющего лирические песни Гуськова домой.

Отвары и травы Гуськова не вылечили. Он так же много и размеренно пил.

Однажды Елагин встретился с Гуськовым в магазине.

— А! Пресса! — весело закричал Гуськов, уже поправившийся «после очередного вчерашнего». — Заходи ко мне, я тебе кое-что расскажу!

Года три назад Елагин делал передачу о Гуськове как первом предпринимателе города в наступившем новом времени.

Гуськов ясно и доходчиво рассказывал Елагину о том, с чего он начинал своё дело, как пробивал чиновничьи преграды и расширялся. Но как только Елагин попросил рассказать всё это на плёнку и поставил перед Гуськовым микрофон, первый предприниматель заигноризированно упёрся взглядом в блестящую треногу микрофона и осилил только две фразы предполагаемого рассказа:

— После службы в Советской армии я стал работать в милиции. Когда не стали платить деньги, я...

Тут внутренний цензор в облике начальника штаба райотдела шагнул в сознание Гуськова и показал толстый кулак. Гуськов сглотнул комом подступивший к горлу страх и замахал рукой на магнитофон — дескать, выключи!

Елагин прекратил запись и снова объяснял

Гуськову: мол, тот может говорить что угодно, может кашлять, смеяться, повторять фразы, ругаться матом — лишнее потом уберут и вычистят плёнку. Тот слушал, говорил, что понял, но как только плёнка «Репортёра», ласково шипя, начинала вращаться, Гуськов забывал слова, запинаясь, махал руками, и Елагин снова выключал магнитофон.

Выход в таких случаях профессионально известный — написать текст на бумаге, раза три прочитать его «про себя» и без помарок записать на плёнку.

За годы работы Елагин писал тексты выступлений полеводам и животноводам, профоргам и парторгам, врачам и продавцам. Один весёлый парторг приходил в редакцию и говорил: «Цифры и фамилии я тебе дам, а галиматью ты сам придумашь...»

Со слов Гуськова Елагин написал текст, и первый предприниматель осипшим от переживаний голосом прочитал о начале своего трудного капиталистического пути.

Тогда, несколько лет назад, это и было началом их знакомства.

Теперь Елагин прошёл в узенький кабинет владельца продовольственного магазина. За широким столом сидела пожилая женщина с нарумяненными морщинистыми щеками и густо наведёнными чёрными ресницами. Она равнодушно глянула на вошедших маленькими пронзительными глазками, поздоровалась едва слышным шёпотом.

Гуськов опустил за свой стол у решетчатого окна, пригласил сесть гостя. Елагин устроился боком — так, чтобы видеть и женщину-главбуха, и Гуськова.

— Ты знаешь, — весело заговорил Гуськов, — сегодня ночью я говорил с Биллом. Он не советует мне открывать новый магазин. Надо какое-то время переждать. Билл скажет, когда надо...— У Гуськова лучились глаза. Он возбуждился, привскакивал на стуле, ворошил бумаги на столе.

Елагин посмотрел на бухгалтера — та невозмутимо писала что-то в большую толстую тетрадь.

— А Билл — кто? — тихо спросил он.

— Как — «кто»?! — удивился Гуськов. — Клинтон! Президент Америки!

Елагин заулыбался, думая, что сейчас и лицо Гуськова оправдается улыбкой и они вместе посмеются над этой неожиданной шуткой. Но Гуськов совершенно серьёзно продолжал:

— Билл — друган мой! Я почти каждую ночь с ним перезваниваюсь. Это тебе он Клинтон! А мне — Биллок, Биллашка! Вчера часа полтора трепались. О чём только не переговорили!

Елагин, улыбаясь, поглядел на главбуха, но она так же сосредоточенно и хмуρο оформляла бумаги.

— Я бы тебя сейчас познакомил с ним, — говорил Гуськов. — Но у них ночь. Он спит и не любит, когда его будят. Хотя меня он всегда рад слышать... Говорит, голос России ощущаю... Приходи ко мне часа в два ночи — познакомлю тебя с Биллком. Он человек простой, понятливый...

Холодок пробежал по спине Елагина. Он понял, что Гуськов говорит серьёзно, верит себе, думает, что окружающие должны так же безоговорочно верить ему.

Неожиданно Гуськов вскочил, сказал:

— Я через пять минут буду! — выбежал из кабинета.

— Он часто такое говорит? — спросил Елагин бухгалтера.

— Говорит и не такое... — тихим скорбным голосом ответила женщина. — Скажи кому — не поверят! Вчера вот с этого телефона, — она показала на телефон Гуськова, — со шведом говорил, королём ихним... На «Г» его зовут. Всё какого-то Карла ругал за то, что он напал на нас. Угрожал этому «Г», что Клинтону пожалуется на него и тогда, мол, этому «Г» беда будет. А чтобы он не нажаловался Биллу, пусть этот «Г» товары в его магазин присылает...

Елагин слушал, как серьёзно говорит эта женщина, и чувствовал, что реальность ушла из этой комнаты, а здесь создалась атмосфера какого-то бреда.

— Я вся в напряжении, — продолжала бухгалтер. — Каждое утро сюда, как в клетку с тигром, захожу! — и заплакала. — А ну как его замкнёт? Врагом меня объявит! И не убежишь...

— Так уйдите с этой работы, — предложил Елагин.

— Пыталась три раза, а посмотрю на него, Гуськова, и жалко делается — пропадёт! И жена

его меня спрашивает: не уходи, мол. Он дурного-то ничего не делает, побредит про всяких Клинтонов — и спать. Сейчас, думаешь, куда он ушёл? На склад. Там раскладушка у него, он свернётся и спит. Часа через два придёт как ни в чём не бывало. Ему бы не пить — золотым человеком был бы... Тебе, может, он чего обещал — мясца или колбаски? Так я распоряжусь — принесут... — сменила разговор бухгалтер.

— Ничего не надо, — сказал Елагин и попрощался с женщиной.

Умер Гуськов в канун Нового года. Отравился спиртом «Роял». В обиходе — «Роялем». Говорят, спирт этот прислали нам скандинавы, может быть, даже шведы...

Жена и дочь Гуськова продали пищевые и питейные заведения в городке. Оставили себе только ресторан в центре, назвали его «Гусёк» — в честь безвременно ушедшего хозяина.

В Дольске начали появляться торговые и туристические заведения богаче Гуськовых. Хозяева этих заведений строили роскошные особняки, гостевые дома, но в памяти горожан Гуськов остался первым, кого называли «дольским олигархом».

25

«Во время дождей, которые неделю заливали наш город, у гр. Шайкина затопило погреб с остатками огородных припасов. Он обратился в горкомхоз с требованием откачать воду и возместить убытки.»

Комиссия обследовала погреб гр. Шайкина и нашла полный обман в виде надуманных припасов, как то: окорок, двадцать килограммов, боценок мёда, яблочное, вишнёвое, малиновое и пр. варенье. Солёные грибы, свиное сало и десять мешков картофеля.»

В результате бедственного имущественного положения гр. Шайкина, опроса его соседей, которые подтвердили, что таких съестных припасов у Шайкиных отродясь не бывало, и вещественного доказательства — плавающей в погребе кадки с остатками зловонной квашеной капусты — в просьбе гр. Шайкину было отказано.

Тогда гр. Шайкин обозвал матерными словами

комиссию, а в её лице — народную власть и написал письмо в организацию международного Красного Креста, которая находится за границей на капиталистической земле. В письме он просил оказать ему помощь как потерпевшему стихийное бедствие. А к первоначальному списку продуктов в заграничное письмо он добавил ноские вещи: две пары хромовых сапог, габардиновое пальто и два полушубка, надеясь обмануть и Красный Крест! Мол, в этой организации по причине отсутствия за границей погребов не знают, что в них ноские вещи не хранятся...

Письмо после прочтения в соответствующих районных органах было передано в коллектив сапоговальняльной фабрики, где гр. Шайкин работает. Коллектив организовал возмущённую проработку нечестного гражданина. Товарищи по труду стыдили гр. Шайкина. Говорили о том, что он пытался одним способом обмануть советские и чуждые нам иностранные органы.

Гр. Шайкин покался, сказав, что он впрямь такого не сделает.

Коллектив великодушно простил его и наказал за проступок третьим месячным жалованья.

Пусть будет другим неповадно строить зажиточность на обмане!»

(Н. Савостиков, рабкор. Газета «Колхозный клич»)

Сапоги уполномоченного НКВД Василия Бутова жили отдельной жизнью от него и всех окружающих. Летом они были густо намазаны ваксой «Чёрные глаза», купленной в железоскобяном магазине. Вакса эта имела свойство ссыхаться до каменной крепости, и хозяйственные люди приноровились натирать окаменевшей ваксой дратву вместо смолы. Осенью и весной Василий пропитывал сапоги дёгтем, а сверху наносил гушиное сало, и вода не держалась на сапогах. Голенища сапог были невероятно широкие, и тонкие ноги Василия болтались в них, словно чайные ложечки в стаканах. Подошва и каблуки подбиты самодельными широкими подковками. Василий шагал медленно, враскид. На булыжной мостовой из-под каблуков раздавалось жёсткое металлическое скорканье, изредка выгрызались искры. На деревянных мостках сапоги вытопывали сдвоенный гул: сначала бил каб-

лук, потом припечатывалась подошва. И люди пугались не самого Василия, а его сапог. Подвыпившие мужики, кучковавшиеся в рядах возле пивной, могли не воспринимать крики, топот, ржание лошадей, но их уши мгновенно отсортировывали из этих звуков шаги Василия, и мужики спешно расходились от греха подальше. Кличку ему дали «Бухало».

О Бутове ходили по городу байки.

— Сула-а! — говорил о нём Аристарх. — Он ведь до уполномоченного-то милицейским был. Иду я в Рядах выпимши, навстречу — Бухало. Я огнул его и — к чайной, а он — в дверях. Я поскорю — к дому, а он мимо меня движется. Я уж было хотел крестное знамение на себя кинуть, а он мне величествует: «Ты что, говорит, сурло пьяное, мои путя перехлёстываешь? Хочешь, чтобы я тебя в участок сволок?» Тут такое отношение получается, Василий Митрич, — говорю ему, — что будто не один ты по городу главенствуешь, а с десяток вас под одно обличие настроганы. Слово бы из земли ты растёшь во всех местах без посаду и поливу! А он эдак вытянулся луковой стрелкой, сапог выфертил перед собой и — мне: «Служба такова, что должен я всякие непотребные места в глазу держать, от всяких врагов и пьяни прогонной трудовой народ охранять!» Заело меня. Что я за пьянь прогонная? Вездесущий, говорю, ты, Василий, хоть и с виду стручок, а все тебя боятся из-за уважения к твоим сапогам! Дёрнул меня чёрт за язык! Тут бы Василию взвиться, должностью своей меня придавить, а он, поперешнай, засмеялся и говорит: «Нас, — говорит, — три братья, мы видом усушистые, а внутри гордость имеем, за счёт гордости на должностях и держимся!» Вот тебе и Бухало! Так он до уполномоченного и выслужился.

Людей незнакомых — в основном приезжих, своих он знал насквозь, — Василий оценивал по обуви. Если сапоги крепкие, пропитаны дёгтем до головокружительной духоты, то это хозяин, за собой следит, понятие о жизни у него серьёзное, лишним рублём в чайной бахвалиться не будет. А если, по выражению Василия, «гражданин обут натошак», то есть обувь ссохлась и сбилась, как короста, то этот гражданин не о жизни думает, не о том, чтобы к себе уважение привлечь, а о чём-то постороннем и дурном и,

следовательно, человек этот на шаткой дороге.

К немецким гамашам с высокой шнуровкой, само собой, почтение особое. Гамаша носит уполномоченный Райзо Демидов. Привёз он их из Москвы, обувает в большие праздники. Такие гамаша, по выражению Аристарха, «никакая лошадь не изнасит, хоть не подковывай». У высоких чинов обувь обманчивая. К ней объяснение иное должно быть. Местного понятия о ней не хватит...

Василий Бутов пришёл в музей с утра. Проскоркал сапогами по булыжникам, прошурхал по песчаной дорожке, загухал по доскам галереи.

Плотников в это время пристроился на крыше Троицкого собора с рулеткой — замерял узкие купольные окна. Он видел человека в форме, поднимавшегося по ступеням.

Тётя Маша позвала Плотникова, и он, чувствуя недоброе, спустился на землю.

— Бухало явился, — шепнула тётя Маша. — Ты в задры не лезь, а слушай Аристарха, он Ваську знает, — предупредила она.

Василий Бутов сидел на старинном зелёного бархата стуле, постукивал пальцами по истёртой сумке и слушал Аристарха, который рассказывал ему о том, что могут вытворять пьяные лошади.

Василий ещё не определил, как ему относиться к разухабистому говору Аристарха: нужно держаться по должности строго, но он знает этого болтуна с детства. И Василий то улыбался, то, спохватившись, хмурился и смотрел в сторону, словно с этого момента хотел начать серьёзный разговор.

— А в Иван-деревне начисто жеребца споили. Как кобылу огуливать, так копытом бьёт — не буду, говорит, без самогону!

— Кто говорит? — ловил на слове Аристарха Василий. — Жеребец?

— А ты думаешь, лошади не говорят?! — без пауз схватывал Аристарх. — Да они, как и вся живность, на своём языке о жизни лопочут, а лошади иной раз поумнее нас с тобой бывают... Дак вот он, значит, на лошажем языке и нежелание своё выносит. Ему в полведра воды полулитру самогона втюрили. Он всосал и — за работу с большим старанием. Поехал на нём председатель Мишка Балашов в город. Мимо

чайной проезжают. Жеребец ноздрями потянул и мордой — в двери. Мишка вожжи рвёт — толку никакого. Жеребец с саночками вкатил в зал и — к пиву! Лизнул буфетчика по мурлу и эдак головой подталкивает: мол, наливай, сердешный, нечего матюгами потчевать! Тут содом начался...

— Что-то я не слышал от Балашова об этом, — усомнился Василий.

— Кто ж о таком сраме говорить будет! — с ходу брал препятствия Аристарх. — Ежели бы его орденом наградили, он бы даже бродячей собаке об этом рассказал. А ему после этого въезда купеческие замашки приписали! Дальше слушай...

Но вошёл Плотников, и Аристарх торжественно представил его районному уполномоченному.

Бутов оглядел директора музея, задержал взгляд на ботинках, вздохнул и даже как-то расслабился нутром.

— Так вот, гражданин Плотников, — начал Василий, недовольно поглядывая на Аристарха. Не будь его, он бы всю строгость выпустил. — Трудящиеся колхозники едут к вам за кирпичом, а вы их потчуете царскими орлами! — Василий на последнем слове принажал и многозначительно замолчал.

Плотников понял, с чем пришёл Бутов.

— Да вы поймите! Ведь печать — музейная. Всё вышло совершенно случайно...

— А мы поймём! — перебил его Бутов. — У нас такая должность, чтобы понимать. Потому я должен снять с вас допрос и принять меры для пресечения впредь... — Василий вынул из сумки листок серой бумаги, сложил его, покусал на сгибе и разорвал на половины. Послюнявил химический карандаш и, вытерев ладонь о галифе, спросил изменившимся голосом: — Фамилия?

— Ах, вот оно что! — звонко крикнул Аристарх. — Опять проморгал! — Он подскочил к Бутову, схватил его руку с карандашом, сдавив голос, прошипел: — Белая кость! Я же его нутром чуял! Пиши меня первого — я подтверждаю. Он при мне царского петуха мужикам втетерил. Контра! Пиши в свидетели!

— Подожди, подожди! — Бутов выдернул рукав гимнастёрки из цепкого захвата Аристарха.

— Кто — контра?

Аристарх показал на Плотникова:

— Он мне — то да сё, а я — нет!

Плотников почувствовал, будто кровь из его головы и тела разом, словно ртуть, тяжело и холодно прилила к ногам. Он не знал, что сказать. И не только что, но и как сказать! Он позабыл все слова, и только два слова пульсировали в голове: он — контра!

— Сам посуди, Василий, — продолжал Аристарх. — К нам народец из многолюдных городов прибывает и сразу — в начальники! А мы на таких раззявя рот глядим, и как бы на нас туманец наплывает. Когда же очуаемся, он уже белокостный выходит совершил. Каково теперь трудовому крестьянству на свете жить? Это ж полное разлагательство души... Потому совет мой тебе, Василий. Раз ты эту должность мучишь, принимай строгие меры!

Бутов посмурнел, отложил листок и карандаш, потёр кулаком желтовато-выпуклый, словно сушеный бычий пузырь, лоб, вытянул губы — размышлял.

Аристарх подмигнул Плотникову.

— Это что же получается? — заворочались раздумья у Василия Бутова. — Человека на должность прислали, а он, значит, не нашего выхода? Вот ты говоришь — контра! — повернулся он к Аристарху. — А не приди я сегодня, ты и работал бы с ним? Да если посмотреть, то какой же он белочин, когда в выправке одно захолустье и гамаша расхлюпаны до неприличия! Ты вот навалился на человека и себя, наверное, мнишь этакой значительностью... А ведь ты, Аристарх, — вытяни тебя за пятки! — жулик первой гильдии и забудыжный пустозвон. Я тебя по старой памяти в участок не беру. А мужики из деревень, известно, шельмы! Они думают: раз в колхоз вступили, так с них уж и патреты пиши. Ишь, заслуга! — непонятно куда гнул уполномоченный Василий Бутов. — У нас тут вон сколько церквей! За каждую можно в тюрьму сажать. А потому, гражданин Плотников, осторожней с разным старорежимным хламом. Лежит куча — не вороши... А печать замени! — Василий положил листок и карандаш в сумку. Уходя, в дверях добавил: — Я завсегда — по справедливости, потому наговоры для меня никаких значений

не стоят. У меня и братья такие! А вас я обеих на карандаш возьму...

— Вот так, брат Семён Андреевич! — заухабисто начал Аристарх, когда грохот шагов Бутова удалился с галереи.

— Сгинь отсюда! — не страшно, едва сдерживая радость, закричал Плотников. — Шкура ты продажная! — Злоба на Аристарха была не настоящая.

— Хитро надо, хитро! — с упрёком говорил Аристарх. — Неуж ты подумал, что я взаправду? Я Ваську-то поперёшностью взял. Я его как облупленного...

Но Плотников замахал руками, и Аристарх суетливо вильнул за дверь.

И в этот раз так же медленно шёл в музей уполномоченный НКВД Василий Бутов. Тяжёлый шаг зависал долгим звуком над гулками досками крепко сколоченного моста. Сапоги словно сопротивлялись ногам, оттягивали шаг, волочились по взгорной тропке, распуская светло-серую пыль, которая облепила жирные раструбы голенищ, придавая сапогам долговечную мощь. Будто вытесаны были сапоги из серого камня, коим обложен собор Рождества Христова.

Сразу на галерею Бутов не взошёл. Сел на прохладные ступени. Поглядел на облитый солнцем окатный вал, на коряжливо переплетённые ветки старых вязов, впаявшихся в пепельно-синий горизонт. «Вот тебе и жизнь, — вяло протянулась в распаренной голове мысль. — Кто ж это придумал — в родном месте врагов искать?» И не спросил он об этом у себя, а словно оправдался, потому что ответа он не знал, да, впрочем, и знать не хотел. Просто объяснял себе причину своего появления здесь и муторного состояния.

«Месяц назад по затребованию губернии шестерых врагов им направили. Теперь ещё подавай! Что, мы их на грядках выращиваем? Теперь вот на нового директора музея отдельная бумага пришла. Директор — мальчишка напуганный — враг?! Поглядеть бы на этих большедумов, которые распоряжения спускают. Если только на приезжих грехи списать? — попробовал отыскать лазейку Бутов. — Приезжие любой грех за собой приволокут! Степен-

ные люди на одном месте живут и детей своих к одному месту приживляют. А которые в катышах по земле — те пакости на себя налепляют и за собой их ташат», — так рассуждал Бутов, прохоложиваясь на шерблённых кирпичах, от которых шёл ровный нутряной холодок с едва уловимым ладанно-восковым запахом, как в церкви после службы.

Желания выполнять работу не было, но тем и отличался род Бутовых, что не делил работу на желанную и отвратную. Любую работу надо упорно подламывать, то есть делать по силам хорошо, а в деле и желание придёт. Бутов разогнул своё сухое несуетливое тело, потрогал сумку-перекидку с секретным циркуляром и стал восходить по ступенькам к цели.

Плотников в прохладе и полутьме читал старую рукопись. Осталось чуть больше половины самодельной тетради, когда задрожали от тяжёлых шагов доски галереи и через минуту раздался стук в дверь.

Василий Бутов, как всегда, неторопливо прошёл к столу и сел в кресло с высокой спинкой. Тело Бутова уменьшилось раза в два, а кресло увеличилось тоже примерно вдвое.

Из сумки-перекидки Бутов вынул сложенный вдвое листок плотной бумаги и так же молча, как всё, что он делал сегодня, протянул лист Плотникову — читай!

На листе забитыми до слепоты буквами без перерыва работающей казённой машинки было напечатано, что по многочисленным свидетельствам, поступающим в соответствующие областные органы, директор дольского краеведческого музея ведёт подрывную контрреволюционную деятельность: препятствует работе общественных и государственных органов. А посему надлежит задержать гражданина Плотникова и сопроводить его в губернское (областное) отделение НКВД для дознания. И подпись.

Бутов глядел в лицо Плотникову и ждал вопросов, возмущения, крика — всего того, что бывает, когда людям приносят подобное известие. И он, Бутов, был готов к такому поведению сидящего перед ним человека. Ведь его предшественник требовал доказательства своей антинародной деятельности. Обзывал приехавших за ним опричниками. Его не стали

определять в местный предзак — сразу увезли в губернию.

Плотников же, побледнев до серости на лице, спросил тихим сухим голосом:

— Сейчас ехать?

Бутов увидел совершенно растерявшегося человека, оглушённого, испуганного, не знающего, что же ему делать.

Письма «возмущённых колхозников» против директора музея организовал Савостиков. Как, впрочем, и на бывшего директора. Бутов, естественно, знал об этом. Савостикова он терпел с трудом. Слушал в кабинете его устные доносы на горожан. Обещал проверить. Часто Савостиков через голову Бутова отправлял письма в областные органы, и оттуда спускался циркуляр: разобраться и принять меры. «Хоть бы его, чёрта, во враги кто расписал!» — думал иногда Бутов.

— Я вижу, что ты человек неожиданный для наших мест, — начал Бутов издали. — Народец здесь, сам видишь, завистливый и грызучий, дрянной народец. Новую жизнь им сверху спустили, а как и что делать — не растолковали. Вот они и дуют во все ноздри: сорняки ищут, прополку ведут. Одним сказали, что церкви — религия, их надо ломать, а другим — таким, как ты: церкви надо сохранять. Одни ломают, другие охраняют! Кто — кого. А я оказался посреде, и дана мне власть определять и друзей, и врагов... Мне одного взгляда хватит, чтобы оклеймить человека. Я вот тебя увидел, и теперь хоть дёгтем тебя мажь, хоть в перьях валяй — человек ты дельный, нужный для общества...

Плотников отстранённо, как сквозь вату в ушах, слушал глухую непонятную речь Бутова. Мысленно прощался с кабинетом, музеем, городом — всем тем, что успело зацепить его душу. Придётся рвать эти тонкие корешки, которые незаметно проросли в нём и связали хилой пока, но живучей опуткой с миром городка.

— ...Я вот какое принял руководство сам для себя, — слышал он отдалённый говор Бутова. — Тебе даю совет: потихоньку собирай-ка ты вещишки да таёмно уезжай из города. Я директиву на тебя попридержу. — Бутов хлопнул ладонью по сумке. — Пока очухаются через неделку-другую, ты уж новое пристанище сумеешь найти. Искать тебя никто не будет, сейчас разбродное

время! Вон Дергоусов наострил из предзака. Где он теперь? С собаками не сыщешь. И тебя не найдут. А если всё соблюдем, как написано, то начинай прямо сейчас слёзы лить... Я тебе всего не скажу, но если в губернию попадёшь, хоть святой водой окропись — не спасёшься! Ещё одна разрядка на врагов пришла — четверых надо распознать. Ты через денёк соберись, напиши на листке: мол, по делам в Москву уезжаешь. А сам через Гаврилов Посад — на Иваново. Там железная дорога. Иваново — город большой, потеряешься — не найдут! Только никому не говори! Особенно — Аристарху. Этот балабол по пьянке всех засветит...

Плотников каким-то единым взором окинул предстоящие действия, которые неожиданно насовещал ему совершить уполномоченный Бутов. Ужаснулся этим действиям. Но тут же, осознав их как единственное средство спасения своей жизни, смирился и успокоился. Придя в обычное состояние, почувствовал доверие к Бутову, пока ещё не до конца осознанное, но интуитивно верное. А иначе какой смысл всех этих слов Бутова, в которых есть желание спасти его, Плотникова, человека уже приговорённого, а значит, безнадёжного для жизни.

Отстучали сапоги Бутова по галерее.

Плотников обездвиженно застыл взглядом на решетчатом окне, в котором билась шёлковыми крылышками о паутиненное стекло большая коричневая бабочка-крапивница. Её выцеливал из щели в раме чёрный длиннолапый паук. Когда бабочка замирала, паук по раскинутой сетке паутины шустро приближался к ней, тянул шарнирную лапку, трогал за дрожащий подкрылок, повернувшись шаровидной спинкой, пытался захлестнуть тело жертвы очередным выбросом паутины. Но бабочка отчаянно била крыльями. Не затвердевшая свежая паутина разлеталась. Захлест не получался. Бабочка скользила по стеклу. Паук забирался в щель и упорно продолжал следить за крапивницей пылинками серых глаз.

Плотников с трудом открыл створку окна, и бабочка, трепыхаясь по воздушным волнам, сначала упала к земле, а затем взмыла вверх. Едва бабочка почувствовала свободу и наострилась на луговой нектар цветов, как мгновенно

но была выдернута из солнечного мира стремительной ласточкой.

Хотя Бутов и предупреждал Плотникова о том, чтобы он не говорил об их последней встрече Аристарху, но сам нарушил своё же предупреждение.

Через день к вечеру Аристарх зашёл к Плотникову и без своей обычной возбуждённости, придавленным голосом сказал, что он всё знает. Час назад Бутов приказал Аристарху сообщить своему начальнику, что после завтра могут приехать за ним из областного отдела и ему немедленно надо уезжать из города.

— Собирайся! — сказал Аристарх. — Я тебя завтра с первыми петухами увезу в Посад. Всех же оповещу, что уехал ты в губернию, а из неё — в Москву по музейным делам...

Жирно намазанные солидолом колеса телеги не скрипели. На взгорках и яминах ступицы колёс чмокали и упруго поколачивались о солидоловые налипы на боковинах. Ехали через луга, затянутые жидким туманцем. Сельская округа постепенно начинала выходить из короткого сна. Петухи обозначили появление утренней жизни пронзительными крутогрудными криками. Сонные предутренние люди ласковыми шлепками по коровьим бокам и толчками в тёплые маслянистые шкуры овец выгоняли скот на выпас. Пастухи уже стреляли кнутами на дальних околицах.

Сквозь начальную предутреннюю жизнь пригородных сёл, по сухой прибитой дороге и вёз Аристарх Плотникова в «останный побег» — так он обозначил процедуру скорого отъезда из городка.

Они сидели спинами друг к другу, каждый — на своей стороне телеги. Посредине на охапке соломы лежал всё тот же вытертый до белых плешин чемодан Плотникова. В этот раз к боку чемодана приластился серый холщовый узелок, накрепко привязанный к чемоданной ручке. Тётя Маша, жена Аристарха, снарядила узелок в дорогу «горемыке и страдальцу» — так она сквозь слёзы назвала Плотникова. В узелке — десяток яиц вкрутую, хлеб, большой кусок сала, огурцы и яблоки. Всё это было приготовлено с вечера. Тётя Маша, истово ругая Аристар-

ха за то, что он раньше не узнал о проклятом замысле ирода Васьки Бутова, суетилась по кухне, хватала ненужные вещи, приговаривая:

— Вот ложка ему! Какую тарелку дать, чтоб не разбилась!

Аристарх, спокойный и сосредоточенный, не отвечал на упрёки жены. Нутром понимая её, останавливал действия женщины редким в их отношениях ласковым голосом:

— Ну зачем ему тарелка в дороге? Где он щи хлебать будет? Ты уж тоже... Яблочек ему вон наших насыпь — на сухомяточку и погрызёт...

Тётя Маша с лёту хлестала:

— «Погрызё-от!» Ты заодно с Васькой-то! Сговорились погубить мальчишку! Вы чело-вечью жизнь на подштанники променяли! Он хоть Бухало, а ты, стручок кривоногий, для ко-го выслуживаешь? Что, тебе подштанников не хватает?!

Второй раз, услышав о подштанниках, Аристарх так же тихо и ласково спросил у жены:

— Что ты, Маша, всё о каких-то подштанниках говоришь? Уж разумок у тебя не заблудился ли?

— Заблудился! Да! — не выходила из крика жена. — Мне вчерась баба бутовская всё обрисовала. Мужу, говорит, за выявление врага — подштанники новые, а бабе — три метра сатина! Вот вы и сговорились с Васькой!

Аристарх, дождавшись небольшого затишья в поведении жены, ещё ласковей, тише рассказал ей о предупреждении Василия Бутова и его совете уехать из города.

Тётя Маша слушала, недоверчиво покачивала головой. Выслушав до конца, сказала:

— Не верю я Ваське. Какую-то мышеловку он замышляет. Приедете, а он вас на вокзале в Посаде и прихлопнет! Вот и будет у него два врага. Тут тебе и подштанники, и сатин...

Аристарх спорить не стал. Он чувствовал в себе этакое ответственное напряжение, какого в своей жизни не помнил. Были решительные минуты. Но он легко их преодолевал хитрым трёпом, напускной придурковатостью и всякими другими изворотливыми житейскими приёмами. Сейчас же он понимал: обычные хитрости бесполезны — не отговоришься, не отмахнёшься, потому что не пчела с жалом над головой кружит, а хищник пострашнее, кото-рый не ужалит — убьёт!

Проехали Ратницкое.

— А клык так и торчит, — сказал Аристарх, едва речка блеснула далекой водой. — Кто его теперь корчевать будет? Всех умных людей во враги определят, а с дураками вроде Савости-кова хорошей жизни не построишь!

Дорога плавно прогибалась на широкий луг, вела к деревянному мосту через Ирмень. На вы-соком берегу стояло село Подолец.

— Глянь, какой туман! — внезапно сказал Аристарх, натягивая вожжи.

Справа, слева и впереди, от зелени луга до разбавленной синевы неба, стояла плотная, словно слежалый войлок, охватистая стена тумана. Жёлтая лента луговой дороги вползала в стену и терялась в ней.

Плотников увидел, что и сзади, откуда они уехали, ползут в их сторону закруты непрог-лядного тумана. И село Ратницкое, которое минуту назад было видно с телеги, теперь нап-рочь затянулось пеленой, и только редкие зву-ки — мычание коров, прострелы пастушьего кнута — доносились оттуда.

— Такого я ещё не видывал! — тревожно ска-зал Аристарх. — Попадал в туманы, но чтоб в такой!..

Мерин зафыркал, запрял ушами, стал ко-ситься чёрным глазом в сторону. Аристарх дёр-нул вожжи. Мерин с рывка зашагал по дороге.

— Он у меня парень сообразительный, выве-зет! — с успокоительной радостью выкрикнул Аристарх.

Дорогу ещё было видно. Туман приближал-ся. Лошадь встала перед его стеной.

— Но! Но! — задергал Аристарх вожжи. Ме-рин шагнул вправо, влево и встал окончатель-но. Не реагировал на рывки и крики хозяина, только фыркал и мотал тяжёлой головой.

Плотников глянул под ноги лошади и увидел вместо накатанной дороги густую некошеную траву.

— Сбились! — сказал он Аристарху.

Аристарх повернулся к Плотникову, и тот увидел бескровное жёлтое лицо с вытаращен-ными глазами.

— Ты молиться умеешь? — хрипло спросил Аристарх и, не дожидаясь ответа, быстро-быст-ро стал окидывать себя короткими крестами,

пришёптывая: — Господи, спаси-сохрани и помилуй меня, грешного! Грешил по неразумению, а плохого против тебя не мыслил, сам знаешь! Спаси от дьявольского наущения меня да мальчика вон неразумного... Молись, молись! — шипел он в сторону Плотникова.

— Давай разворачивайся! — закричал Плотников, чувствуя сырой холод от подступавшего тумана. — В Ратницкое! А оттуда — на дорогу!

Аристарх подпрыгнул на телегу, натянул вожжу, поворачивая лошадь, но, развернув наполовину, выдохнул:

— Господи!

Стена тумана сзади догнала их и слизала дорогу. Вместо неё такая же, как и впереди, и кругом, до пояса зелёная плотная трава. Телега стояла на жёлтом обрывке дороги.

— Самогонки не взял, дурак старый! Теперь и не выпьешь! — забормотал Аристарх. — А так бы по стакашку хмызнули, глядишь, всё бы прояснилось... А может, мы в сон пали?

Пропала в тумане голова мерина с дугой и хомутом, и только фырки лошади обозначали её жизнь. Пропал задник телеги с охажкой сухого сена и торбой с овсом. Пропал из глаз Плотникова Аристарх, и Плотников пропал из глаз Аристарха. Они начали кричать друг другу, но голоса их звучали только в их ртах. Туман сомкнулся на середине телеги над чемоданом Плотникова и дорожным узелком тёти Маши. Пропал мир, и они пропали из этого мира...

С переключкой третьих петухов из Ратницкого и Подольца подул с заречья тёплый ветер, распушил и вымел туман. Бескрайний подолецкий луг вновь зазеленел высокой густой травой с праздничным рассевом неброских издали, но ярких вблизи цветов. Всё так же желтела через луг дорога, обрываясь на конце деревянным мостом через речку.

Подолецкие колхозники, вышедшие утром на покос, нашли метрах в пятидесяти от моста, на обочине, ременные вожжи с уздечкой и холщовый узелок с салом, яйцами и хлебом. Вожжи с уздечкой отдали колхозному кладовщику, а содержимое узелка скормили собакам, охранявшим склад. По суеверию — грех людям съедать находку с дороги.

С этой поры на исходе туманных ночей, ка-

кие часто бывают на заливных лугах, видели люди странную подводу на той дороге. Лошадь тянула за собой телегу, на которой сидели порознь два человека. На головах у них были накинута башлыки, какие делают из дерюжных мешков на случай дождя. Ни единого звука не доносилось от подводы: не скрипели колеса, не звякала уздечка, не фыркала лошадь. Около моста лошадь останавливалась и поворачивала влево. А потом подвода возникала на другом краю луга.

Местный активист-безбожник решил разоблачить это мракобесие. Он с колхозным сторожем, человеком неопределившихся убеждений, в особенно туманную ночь подкараулили телегу у въезда на луг. Когда она появилась, подбежали к ней...

Утром активиста и сторожа нашли напрочь пьяными в запертом на все попавшиеся под руку замки, скобы и подпорки сарае. Чуть освободившись от самогонного дурмана, они вперевив, заикаясь и матерясь, рассказали о том, что на телеге ехали два скелета в мешках и лошадь вблизи была скелетом. И вообще, за всё это, хоть оно и двигалось и было видимым, нельзя было ухватиться — то был туман. Сторож показывал ладонь, которую проткнул своими же нестриженными ногтями: схватил было тележную оглоблю, да и сжал туман до крови...

По совету разжалованного с должности местного попа председатель колхоза велел перепахать луг. И первый сельский тракторист, чумазый, важный от своей молодости, на первом колхозном тракторе с огромными задними колесами, на которые были накованы шипы, похожие на лезвие колуна, вспахал луг.

Почернело вольное луговое пространство. Нарушились вековые подземные родимчики необыкновенной сочной подолецкой травы, кошенной и сгребаемой поколениями сельчан в десятки широких усадистых июльских стогов.

Посеяли на лугу овёс. Он, едва приподнявшись, был сжёван какими-то странными колючими сорняками.

Выбранный колхозниками новый председатель надумал восстановить луг. Не стал его перепахивать. Но, кроме чертополоха, кипрея, крапивы и лопуха, на обновленном лугу ничего не выросло.

Туманная подвода не исчезла. Она так же кружила по лугу в летнее полуночье. Только теперь увидевшие её слышали скрип колёс и тихие протяжные стоны...

Весть о пропавших всколыхнула Дольск, когда тётя Маша через три дня после их отъезда запричитала пронзительным голосом в раскрытых дверях сарая, ещё хранившего тепло лошади и приобретённый от неё запах её непутёвого мужа:

— Я говорила... говорила ему, что облапошат дурака! Жизнь прожил — ума не набрался! Ваську Бутова послушал! Горюшко ты моё! Где теперь мыкаешься?!

Соседи успокаивали: попьёт, оклемается и приедет, как всегда, в лёжку на телеге. Но тётя Маша, храня тайну отъезда, только обречённо махала рукой: нет, не вернётся!

Пришёл уполномоченный Бутов и, уединившись с тётей Машей, убедил её в своей непричастности к исчезновению музейных граждан.

— Я найду их! — пообещал он жене Аристарха.

Бутов отправился на пролётке по знакомой дороге из Дольска в Посад. Расспрашивал встречных. В Ратницком ему сказали, что — да — видели, заезжала подвода. Поехала в Подолец и пропала.

В Гавриловом Посаде на вокзале бородастый мужик с привязанным к заплечному мешку медным чайником, вытирая дрожащими руками вспотевший лоб, сказал, что видел похожую подводу, но с одним седоком.

А потом ручейками, словно вода сквозь худую крышу, поползли слухи — один невероятнее другого. Видели Аристарха на базаре в Иваново-Вознесенске. Он продавал лошадь с телегой, а поодаль стоял директор музея Плотников, зажатый тремя мужиками бандитского вида. Опечаленные дольские обыватели решили, что Аристарха с Плотниковым захватила жестокая ивановская банда и музейный завхоз на торговывает откуп для бандитов.

Всех ошарашил уполномоченный Райзо Демидов. Он рассказал под большим секретом, что встретил Аристарха Абрамова в Москве на Ярославском вокзале. Сидел Аристарх на козлах новой пролётки, а вместо мерина была запряжена шустрая лошадка смешанной масти.

Такая шустрая, что Аристарх, увидев Демидова, стегнул лошадку кнутом, и она полетела над площадью. Демидов минут десять бежал за пролёткой, пока его не остановил милиционер и не потребовал документы.

Видели таинственную подводу и в окрестных сёлах, но никто из встретивших её сельчан не сумел поговорить с пропавшими горожанами.

Время заглушило слухи, осталась легенда.

Тётя Маша съездила в губернскую столицу и в единственном действующем храме поставила четыре свечи: за здравие и на всякий случай за упокой душ Аристарха и Плотникова.

Весть о побеге Дергоусова из предзака, а теперь вот исчезновении двух музейных работников тихим шёпотом шелестела в ушах горожан.

Для Данилы это был сигнал к действию. Он, предчувствуя разборки, которые могут начаться в городе, решил немедленно покинуть Дольск.

С первыми петухами следующей летней ночи четверо с котомками и лёгкими чемоданами вышли с постоялого двора и, сказав хозяину, что направляются в губернию, где якобы случился у них выгодный подряд, ушли узким просёлком в ближние к городу леса, а через них — в город Ковров. Но, не дойдя до города двух-трёх километров, свернули на ещё более глухую просёлочную дорогу с прицепленными к ней сёлами, деревнями и пропали.

Проследить их дальнейший путь не было никакой возможности, потому что количество тропинок, троп, малых и больших дорог в нашей лесной стороне неисчислимо и на какую из них свернёт русский человек — одному Богу ведомо.

Впрочем, доносились припоздавшие слухи из губернских селений: в одном — колокольня упала, в другом — купола с крестами на землю обрушились, в третьем — колокола со звонницы скатились. Видимо, это лютовал Данила с бригадой.

Последний слух о бригаде прилетел в Дольск осенью. Якобы растерзали церковных разорителей в старообрядческом селении на берегу Волги, недалеко от городка Пучеж. Поощадили только самого молодого — Петрушу Октябрьского. Да и то замахнулись колом, а ударили

прутиком... Петруша и тронулся умом: голову обжимал руками и плакал. Поддержали его в сумасшедшем доме и выпустили. Долгие годы промышлял он милостыней в городе Кинешме. Сидел у церкви на паперти, кротко улыбался, осенял крестными знаменами дающих милостыню. На службах в храме истово молился. Возможно, отмаливал грехи свои и убитых товарищей. Умер он в канун Крещенского сочельника: простудился и растаял свечным огарком в две недели.

Скоро прибыла в Дольск совместная комиссия из Москвы и областного центра. Смотрели и переписывали церковное имущество. В результате работы комиссии собрали из монастырей и церковью города десять подвод церковной утвари и отправили в областной центр.

Прислали и нового директора музея — человека зрелого, уступчивого, понимающего потребности настоящего момента жизни. В основу развития дольского краеведческого музея он положил антирелигиозное направление и стал настойчиво внедрять его в музейную жизнь.

Тётя Маша уехала из коммунального городка к сестре в село, да вскоре и умерла в тоске и с едва теплившейся надеждой на весточку о судьбе мужа.

Разбирая вещи тёти Маши, её сестра нашла свёрток, в котором была чёрная тетрадь с обложкой из бычьей кожи. Сестра принесла её в музей и отдала новому директору. Он нелюбопытно полистал тетрадь, втиснул её в плотный ряд старых книг на новом стеллаже и тщательно вымыл руки с хозяйственным мылом.

26

Из тетради

Пожар сотворили в душную июльскую полночь. С первыми петухами в четырёх местах города одновременно вытянулись оранжевые языки. Сперва дразнились лёгким неярким трепетом, а потом вдруг вывалились на всю поднебесную высоту и начали алчно лизать пропечённые летней жарой деревянные постройки.

Набатные колокола с короткими промежут-

ками принялись мять ночной воздух. Дробный перекатистый гул повис в мутном небе...

Особенно лютовал огонь в кремле. Пламя короткими скоками перепрыгивало по деревянным крышам, подступало к Успенскому собору, который серой глыбой нависал над обложившим его кострищем. Пламя поглотило соборные пристройки, поползло по стенам вверх, к решетчатым окнам и площадке звона на колокольне. Мгновение — слюда на окнах затрещала, и лезвия огня проткнули внутреннюю темень собора. Ещё мгновение — и пламя перевалилось на звонницу, воронкой закрутилось по площадке. По колокольне верёвкам закарабкались щетинистые лютые зверьки пламени к кованым языкам, перекусили главные жилы большого и малых колоколов, обездвигили и оглушили колокола. И только чёрная впадина большого колокола начала тихо гудеть от вдутия в неё огненно-дымной смеси.

Пожар так скоро и прожорливо принялся отхватывать деревянные куски кремля и посада, что привыкший к частому разбойному огню люд, выбежавший на улицы с баграми, верёвками и деревянными вёдрами, сперва суетился, матерился и кричал, а потом застыл перед бесившимся кострищем, побросал из рук бесполезные орудия тушения и начал истово молиться, забивая вступающую в душу раскалённую жуть.

Обрушился большой колокол. Он проломил обугленный пол площадки и, размётывая снопы искр, красной копной упал в белые угли, завалившие нижний ярус колокольни. За ним красными шарами начали падать в пролом малые колокола...

От приреченских посадских изб, бурями стогами раскинувшихся по пологому склону, спорым лёгким шагом поднимались к кремлю двенадцать мужиков. У пятерых в руках были увесистые топоры на длинных топорницах. У четверых оттянулись в руках кованые ребристые кистени. Трое прижимали к ногам короткие широкие сабли в кожаных ножнах.

Среди взбудораженного люда, красными глазами взирающего на огонь, эти двенадцать были сосредоточенно спокойны. Они клином входили в суемящиеся толпы, раздвигали их и неостановимо, беспрепятственно шли к только им ведомой цели. Слово чёрная тень от короткого густого облака плыла по озарённой солнцем земле.

Из переулков выскакивали люди, припадали к

двенадцати молчаливым. Мигом оценив серьёзность облика незнакомцев, их военную справу, тревожно спрашивали:

— Куды с боем?

— Земскую править! — отвечал мужик с порченым лицом. — Из её все беды и пожары!

— Опаливо! Там царевы исцы! Посекут али в кайдалы окуют!

— Утекли исцы вместе с воеводой! — открикивались другие. — Пожар их за изгород выдул! В посадах таятся! Усохутились, с собаками не сысать! Баят, в Естафьевом монастыре уют нашли и стрельцы там!

Перекириваясь, подпугивая друг друга, лепились к двенадцати мужики с топорами, колами и вилами в руках. Каждого из них вела к земской избе обида, когда-то совершённая служакками из этого строгого места. Толпа разбухала. Многие из этого люда уж не обиду утишать шли, а брать верную в таких случаях поживу.

В воротах земской избы стояли стрелецкий десятник и трое служивых-годовальников.

Десятник — матерый вояка, распахнув до пояса красный, застиранный до серых плешин кафтан, приладил на бердыш пицаль, водил стволом по подвалившей толпе, часто припадал к прицелу и хрипло кричал:

— Осади!

Толпа встала. Единый взгляд сотен глаз замер на пицали десятника. Хоть и один раз успеет выстрелить служивый, но никому первому умереть не хотелось. Боковым зрением увидел десятник опущенное оружие служивых, их страх перед толпой. Не отрываясь от прицела, сдавив голос, прошипел:

— Пицали — на цырла! Трясуны!

Служивые суетливо вздёрнули пицали на бердыши.

Задние напирали, с криком прорывались вперёд, но, увидев служивых в воротах и чёрные зрачки пицалей, останавливались и озирались назад.

Филька выступил из толпы, крикнул десятнику:

— Я скоморох! Ведал о таком?!

— Как не ведать! — откликнулся десятник. — Особая честь тебе — из Разбойного приказа за тобой пришли!

— Уговор! — снова закричал Филька. — Ты со своими вояками нам не в надобность! Уходите подобру, а нас пустите!

Годовальники, услышав лютое имя «скоморох», ещё больше оробели, с надеждой глянули на десятника. Он смахнул пот, перекрестился, ответил резкими выхрипами:

— Пошто вам?! В обрат с Богом ступайте. Я на государевой службе!

— Себя губишь! Потопчем! — погрозил Филька. — Смерть едина! — отвечал десятник. — Не хошь, тебя в дружки на тот свет возьму?! — повернул ствол на Фильку.

— Молодцы! — крикнул Филька годовальникам. — А вы деньгу за срок взяли аль нет?!

— В половину! — почему-то обрадованно крикнул младший служивый

— Тогда ссади пицаль с берды! Чай, не оженился ища?

— Али не побьёшь? — растерянно спросил младший.

— Кинь стрелялку и гуляй! — махнул рукой Филька. — Не тронем...

Годовальник глянул на товарищей, перекрестился, отшвырнул пицаль с бердышом и кинулся на зада приказной избы.

— Стой! — крикнул десятник.

Второй годовальник вздрогнул от окрика и трясущейся рукой стал рвать ворот кафтана.

Толпа загудела. Десятник припал к пицали. Третий годовальник резко подскочил ногой бердыш десятника. Пицаль тяжело упала на деревянную приступку перед воротами. Раздался выстрел. Свинцовая пуля выщипнула у охватистого тополя рядом кусок коры.

— Ратуй! — закричал Филька.

Годовальники бросили оружие и убежали за первым товарищем.

Десятник выпрямился, снял шапку с седой головы и, оборотясь на пылающий собор, стал отчётливо молиться.

Толпа ввалилась в ворота. Затрещали доски, заухали удары по дверям.

Шестеро пришлых, окружив бревно ремнями, били им в дверь земской тюрьмы. Та гудела под мощными поклёвами таранного бревна. От пристолоки летела щепка. От очередного удара дверь вдавилась в смрадную темень подземелья.

Запалили факелы. У столбов стояли кандалники и напряжённо смотрели на ворвавшихся людей.

— Воля пришла, подземники! — крикнул Филька.

Освободители приволокли деревянный кругляш и начали срубать железные запястники у сидельцев.

Освобождённые, пошатываясь, выбирались на двор. Им подносили хлеб и воду, они жадно ели и, погода, бежали к изгороди, придерживая бурчащие, проколотые резкой болью животы, под хохот весёлых и вольных товарищей.

— Воля, братья! Воля! — кричал чумазый щербатый мужик, приседая и шлёпая себя по ляжкам.

— Возрадовался! — с укоризной сказал, выходя на двор, окованный бывший заплочных дел мастер, метивший стать огородником. Он не дал сбить с рук кандалы и мрачно глядел на возбуждённых веселившихся людей.

— Што, аль кайдалы вросли! — спросил Филька. — Не рад воле, чёрт смурной?!

— Не долга радость будет, — ответил мужик. — Опосля такой воли топор — в загрив. Стрельцов нашьют, посекут! А кои из подклети упорхнули — в две головы топор гульнёт...

— В лес утекём, схоронимся, чёрт не сымаёт, — сказал слышавший ответ бывшего палача дружка Фильки, ни на шаг не отходивший от атамана.

— Не-е, — покачал головой мужик. — Я в огородники надумал. Из тюрьмы не уйду, ждать буду... Поесть бы токмо...

Палачу дали хлеба и вяленую рыбину. Он сделал два откуса, запил водой, остатки еды сунул за пазуху, прошёл к стене и сел на солнечную полянку.

Иван вышел на двор. Дымная гарь душила воздух. Далеко за тыном в слободе ещё горело: столбил дым, изредка острые молнии огня пронизывали дымные сгустки, словно гроза надвигалась, но не гремело. Доносились крики людей, треск досок, монотонный деревянный стук. Вокруг приказной избы сгорело всё: сараи, пристройки, скирды сена, конюшня, скотный двор. Выпущенная живность разбрелась по приречным луговинам, жалась к воде. Люди сутились на приказном дворе, что-то хватали с земли, крутили в руках, пригодное в житейском употреблении совали за пазухи, негодное отшивывали.

Иван прошёл к дальней загороди, заметил сидящего на бревне мужика в наручных кандалах. Мужик сдирал зубами чешую с вяленой рыбины. Увидев подошедшего к нему Ивана, мужик кивнул на бревно:

— Садись, не погребай! Меня ты не ведаешь! Зови меня Чуром...

Иван сел рядом. Мужик оторвал пластину рыбы, протянул Ивану. Нырнул рукой за пазуху, вынул четвертину каравая, отломил кус и так же молча отдал Ивану. Нежадно, устало, молча ели. Слушали крики и глядели на людскую суету.

Филька с двумя подручными вышел из-за избы на площадку. Крикнул суеющемуся люду:

— Эй, православныя! Хватит рыскать! Хоронитесь торопко! Скоро нагрнют головоотяпы! Сыск учинят! — Зорким прищуром окинул двор приказной избы, увидел на брёвнах Ивана с бывшим заплочником, подошёл к ним: — Вы словно ротозевы на торжище! Уходит пора! Стрельцы с помогой вскорости явятся! Или белый свет обрыд? — не дожидаясь ответа, обратился к Ивану: — Тебя воевода от доброты подклетью одарил? Так хоронись, пока вдругорядь в подземницу не спровадил. Это вон заплочнику всегда работа будет, он и не спешит. Прикажут — и тебе шкуру выдубит!

Иван оглядел дымную даль города, сказал, словно вслух раздумывал:

— Куда мне хорониться? Я в родимый дом пришёл. Вины на мне нет. А от оговора убегу — виноватым буду. Опосля пожаров строить надобно... Остаюсь я. Ты уводи своих молодцов! Как дале жить-поживать — Господь рассудит!

— Каждую шею своя верёвка трёт! Оставайся, коли выбрал. — Филька свистнул в два пальца.

Двенадцать лихих мужиков вмиг скучковались около атамана. Чуть поодаль сбилась толпа человек в двадцать с узлами, вилами, бердышами, отбитыми у стрельцов. Двое тащили на плечах, словно колья, пищали.

— С нами хотят, — сказал дружка Фильке.

— А порох со свинцом взяли? — спросил Филька у мужиков. — Или пищали заместо дубин?

Мужики переглянулись. Один снял пищаль, отдал другому, а сам побежал на зада приказной избы. Вскоре воротился с двумя тяжёлыми кожаными кисетами: в одном — порох, в другом — рубленый свинец.

Привели три запряжённые подводы. На телегах — добыча: мешки с мукой, кадки с солониной, вязки сушёной рыбы и всякий скарб, нужный в лесном обитании.

В тёмные глазницы выбитых окон приказной

избы швырнули смоляные факелы. Окна ожили, заярились красным светом. По оконным проёмам поползли вверх, к карнизу, чёрные ресницы густого дыма.

Филька с ватагой ушли из города в лесные чащобы, в заветные места. Здесь он обитал с лихими людьми вот уж десять лет. За это время научился владеть топором, саблей, ножом. Промышляли они у больших дорог. Ходили и в дальние города. Растворялись в многолюдии улиц. Высматривали лавки купцов, амбары, скотные загоны и бойни. Брели добычу скорым набегом и утекали в лесные схроны. В стычках гибли товарищи. За десять лет ватага три раза обновлялась. Филька из мальчика вырос в крепкого мужика, ни разу в самых жестоких стычках не получил он серьёзных ран.

После первого обновления ватаги Фильку избрали атаманом. В тоскливые ночи у чащобного костра он вспоминал Фоку и начинал свистеть и чирликать малыми птахами, гукать филином, квакать болотной жабой. Завершал Филька лесной балаган залившимся волчьим воем, который ввинчивался в ночное небо, растекался по нему и тонул в его широкой заглиби, утащив за собой и звонкое эхо.

Все лесные таённые годы Филька вынашивал месть за Фоку. И вот час настал! На кормление был прислан новый воевода, и Филька с двенадцатью самыми надёжными сначала запалил город с четырёх сторон, а потом пошёл на приказную избу. Но воевода с малочисленными стрельцами закрылся в Евстафьевом монастыре, где пережил пожар и смуту...

Скрылись подводы. Ушли лихие люди. Расползлись по своим избам горожане с слепожарной добычей. Сгорела и обрушилась чёрным огаром приказная изба. На её месте, опорошенная черномазым сальным пеплом, грузно оголилась широкая печь, покрытая треснутыми серо-голубыми изразцами.

На задах открылся ход в тюремный подклет с откинутой полусгоревшей дверью. На кирпичной ступеньке входа валялся стрелецкий кафтан десятника с вырванными медными пуговицами.

Чур выдернул из лохани липкий смоляной факел, разворочил на дворе тлеющую горку углей, запалил факел, и они с Иваном спустились в широкую кирпичную камеру. Запах палёной свежа-

тины, словно после убоя поросёнка на Покров, стоял в узилище. Огонь факела осветил тела людей, враскид лежащих на кирпичном полу, слегка прикрытом соломенной подстилкой. Алые лужицы крови поблескивали на камнях, капли и потёки испятнали стены, застыли на соломе, на головах и лицах убитых людей. Запах крови и пожарной гари смешался в кирпичной коробке подклети, напоминал убойную пору предзимья.

В полдень прибыл воевода со стрельцами. Появился шустрый мужичонка в рваном кафтане и что-то вполголоса наговаривал воеводе и стоявшим с ним рядом истцам из разбойного приказа. Позвали к воеводе Ивана с Чуром. С удивлением глядела свита на ручные кандалы Чура.

— Али не подрядили в разбойники? — зло спросил воевода. — Ответствуйте! Другие сидельцы вольными стали, а вы, стал быть, опять в подклет?!

Безразлично было Ивану. В этом усталом оцепенении он пребывал с выхода на волю. Он глядел на воеводу, истцов, дьякона, служивых и челядь, хозяевами ввалившихся в разоренное некогда обжитое место. Иван понимал, что от его слов ничего не зависит. Им, должно быть, и так понятно, почему он не утёк с теми греховодными людьми.

Государевы истцы оглядели двор и подклет. Служивые вынесли из подвала убитых. Рябой дьяк, губной староста, стрелецкий десятник, воротники и затинщики (охрана городских ворот и стрелки из крепостных пицалей) легли рядком на зелёном лужке.

Доложили воеводе о разоре и утратах, о злодее скоморохе, начале сыска воров и потатчиков.

Воевода слушал, молчал, прикидывал — что начертать в челобитной государю: надобно ответ держать и помощи просить. Поглядел долгим взглядом на Ивана и Чура.

— Кайдалы срубите! — приказал он, показав на Чура. — И тебя отпускаю, — кивнул Ивану: — Мекаю, дурно не делал. Напраслину на тебя возвели... Работы опосля пожара много будет... Позову.

Чур уже без кандалов ждал Ивана.

— Где голову приклонишь? — спросил Иван.

— Негде, — ответил Чур. — В батраки подряжусь, Бог поможет...

— У меня изба просторная. У реки. Авось не сгорела! Что тебе средь погорельцев мыкаться. А сгорела, дак новую срубим! Пошли...

Кожевенную слободу огонь не тронул. На берегу реки скучковались ошалевшие коровы и овцы. Овечье стадо, словно по сигналу, вдруг, бросалось вдоль берега за круторогим бараном-вожакком, а потом, остановившись, с жалобным блеянием возвращалось назад к коровам, которые, вытягивая морды к дороге, трубно мычали.

На пологом спуске к воде лаяла, визжала и клубилась серыми волками собачья стая. Два огромных пса яростно грызлись, вставая на задние лапы, слюнявили друг друга кровавой пеной, драли загривки длинными мокрыми клыками, а вокруг них лаяли, рвано и ввалив, большие и малые слободские собаки.

— Разгонять надобно скотину, — сказал Чур. — Коли до ночи хозяева не найдутся, порвут псы. У тебя в хозяйстве нет коровы? — спросил у Ивана. — А то подберём бурёнку...

— У меня и хозяйства нет, — ответил Иван. — Я наподобие тебя — бобыль.

Они сели на лавку перед избой Ивана, глядели на зареченские избы, на куски улиц, отбитые у огня. Над пепелищами ещё поднимался дым и пар. Кирпичная посадская церковь словно выпрямилась, стала выше и шире. На колокольне радостный звонарь бил в малый колоколец, сообщая тонким звоном посадскому люду: «Пожар-ра не-ет-т! Пожар-ра не-ет-т!»

— Завтра с Божьей помощью за работы придемся, — сказал Иван. — Пожар не смерть — токмо пережить суметь!

27

«...И возвратился на круги своя. Мальцом жизнь моя тут протекала, и вживе действия те возникают в видениях, к слову позавчера всё жило и перстами утrogать можно...

...На Николу явился во сне Фока Голосник. Светло-пресветлый, ликом ясен, улыбкой лучезарен. Потешал человечьими голосами разнозвучными, свистом птах, скулением звериным. Близко подошёл, в лик мне вглядывал, а потом пострашнел, тёмен стал. Закричал на меня трубно, люто: «Душегуб! Тобой погубленные за мной ходят, стозевным стоном стонут! К отмолению взывают! Уйди в затвор! Кайся денно и ночью!» И толпа убиенных возникла. Лику

безглазые, кровью оплеснутые, хором вопль утробный изрыгали...

Выпал из сна в страхе небывалом. Из сруба на волю выбежал. Ночь на деревьях висела. А в проёме меж сосен на вышине неба Фока стоял, над ним же старец с ликом добрым лесную глубь крестом осенял. Николай, угодник Божий, с Фоккой явился.

Пал я оземь, челом в колючий лапник уткнулся, молитвы запричитал. Не о себе думал — о Фокке печаль была. Кабы знал, рази мстил бы кроваво!

Таемно утёк из ватаги. Зарябили дни в скитаниях. Шёл по земле опять, словно малец, наутёк. Крест из берёзы выстрогал, из травной повилилки верёвку свил, крест на шею повесил. Привёл меня Господь в скит на берегу Уводь-реки. Старец вышел. Досифеем звать. Глянул на меня синими кружочками глаз да закрестился споро, словно зло от себя открещивал. И рек мне: «Исповедь приму, а грехи заедино отмаливать станем. Вижу светлое зёрнышко в тебе!»

Всё поведал старцу, ничего не утаил.

Повёл меня Досифей в келью земляную с образами Господа и угодников Божьих и велел молиться год коленопреклонно. Страшно мне стало: год на белый свет не глядеть, словеса человечьи не молыть! А старец, словно думы мои чтёт, говорит: «Коли не свершишь оное покаяние, не токмо душу свою не очистишь, но и душу друга убиенного не упокоишь с миром!»

И стал я молиться со старцем. Сперва повторял за ним молитвы, а потом в память те молитвы принял и сам стал их честь. И какое чудо приключилось! Чем дольше я их произносил, тем понятнее они делались, будто бы я их сам и придумал. Чисто на душе становилось, словно речной водой мосточки на берегу оплёскивал — солнышко лучилось на дереве.

Минул покаянный срок. Испросил я старца Досифея с ним быть: так обвыкся, что покидать скит не захотел. Снял Досифей со стены икону Богородицы Путеводительницы, дал её мне со словами: «Ступай в Дольск в Евстафьев монастырь, дай икону игумену. Живи там, молись, сам спасайся и души заблудших спасай, а я здесь за тебя молиться буду. Благословляю тебя и нарекаю именем Фёдор».

Воротился я в Дольск через три лета после по-

жара. Город из пепла возрос. В кремле на соборе — леса у самого купола. Дома свежесрубленные золотятся. На торжище новые лавки. Пожарную каланчу на три пролёта выше подняли.

В монастыре игумен поклон от Досифея принял, икону на столец положил, помолился и сказал: «Великая честь от старца принять. И тебе, Фёдор, оттого честь особая в собратстве нашем!» Чтивость ко мне проявил...

Указал мне келью светлую окном на восход. Утреннее солнышко, взошед в келью, образа золотом омывало. Я в молении тот свет принимал, Бога славил, Николая Угодника покаянно просил за душу Фоки-голосника. За стены монастыря к мирянам долго не выходил: опасался — обличат! Однажды глянул в колодезь монастырский. В близкой воде лик отразился: волосы, словно осенняя стерня, припорошены серой перхотью раннего снега. Борода, как у старца, белыми канителями провита.

Через три дня послал меня игумен в помог батюшке Власу посадскую жёнку особоровать. У ворот монастыря узнал я зодчего Ивана. Стоял он в раздумье у надвратного образа, молился. Он же меня не вспомнул. Но глянул пристально...»

— **С**топ! Снято! — закричал режиссёр.

Это был последний дубль последнего съёмочного дня в городе.

«Иван глядел на Фильку, и Филька в чёрной рясе повернулся и глядел на Ивана. Снимали крупным планом — глаза, подрагивание бровей и едва заметная судорога губ — может быть, они и узнали друг друга?»

После натуральных съёмок будут павильонные, затем монтаж, озвучивание, а что будет в итоге — никто не знал...

«Генваря в 30-й день на площади перед Поместным приказом повешен вор, раскольщик Филька Безродный, чернец».

«Семён Тимофеев сын Козлов был в Дольске воеводю — сжёг и разорил город. За то он бит кнутом и послан в Сибирь подъячим».

«Июля в 20-й день дворовые люди Кирюшка Шалилов с братом обокрали дьяка Савелия Кузьмина. Явлены и пытаны. В разбое повинились и повешены».

«Бит кнутом нещадно служивый Симон Пет-

ров сын Чириков за то, что брал взятки, также брал жёнок и девок на постелю».

«Каменных дел подмастерью Ивашке, сыну Гаврилову, надлежит прибыть в Москву для многих церковных, дворцовых и полатных дел...»

Такую докладную выписку учинили прибывшие в Дольск государевы сыскные люди.

С первым прилётом грачей накинул Иван перемётную суму на плечо и ушёл с артелью кирпичников в столицу. Чур остался в избе Ивана для пригляда и огородных дел...»

Рукопись в чёрной тетради оборвалась неожиданно. Елагин с трудом отделил слипшийся морщинистый лист, перевернул страницу и в начале следующей прочитал: «И растворились в столетнем тумане. Только явлены в памяти нам... За окном душистая испарина июля... Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отошества настало... Допишут, я не успел — ухжу...» И всё, дальше — бугристые чистые листы.

Кичигин сидел за столом. Лампа ослепляла лежащие на столе рукописи. Кичигин, надев на голову биноклярную лупу с двумя квадратными стёклышками, словно сталевар на пламя, разглядывал старинную книгу, делал пометки в блокноте.

— Прочитал! — сказал Елагин. — Но как-то странно: нет конца, словно не дали дописать.

Кичигин снял лупу подошёл к столу, за которым сидел Елагин, сказал задумчиво:

— А может быть, и не дали дописать... Ты знаешь, в чём загадка этого текста? — продолжал Кичигин. — На первый взгляд, кажется, что он написан тремя писцами, а на самом деле у этого текста один автор. Жизнеописание скомороха и строителя Ивана сочинил один человек. И он из нашего времени. Ты заметил, что в этой самодельной книге разная по качеству бумага? Вначале она старая, а с середины — современная. Такое легко делает музейщик, занимающийся старинными книгами. Я тебе сейчас покажу... — Кичигин подошёл к стеллажу, выдернул из шеренги коричневых книг одну, раскрыл её в конце. — Смотри!

Елагин увидел тоненький блок скоробленных жёлтых листов без текста.

— Я могу отделить эти листы, сложить из них новую книгу, — продолжал Кичигин. — И напи-

сать любой текст — уставом, полууставом, придумать автора, сделать необходимую в таких случаях временную стилизацию. Текст о скоморохе — это житийная литература, но в семнадцатом веке жития писали о святых угодниках, а отнюдь не о скоморохах... Это оригинальное сочинение нашего современника. За основу взято житие и придумана вот эта повесть. Такая ловкая стилизация! Но ведь и наша жизнь тоже стилизация. Мы только чуть-чуть реальны, а всё остальное в нас — стилизация...

Через месяц после переданного Елагиным радиоочерка о работе музея и особенно его архивного отдела в редакцию пришёл Кичигин. Он поблагодарил Елагина за понимание работы музейщиков, добрые слова и, как-то чуть смутившись, с лёгкой суетливостью достал из кожаного затёртого портфеля, с которым всегда ходил по городку, ту самую старую тетрадь-книжку, недавно прочитанную Елагиным.

— Я подумал, — сказал Кичигин, — и решил отдать тебе эту рукопись. Она не значится в описях, побывала в руках многих. Специалисты не определили, что с ней делать, — откладывали, перекладывали... Решили, что это какое-то самодеятельное творчество неведомого музейного работника, а потом и вовсе забыли о ней. А ты пишешь... Судя по всему, тебе интересна история. Вот я и вручаю тебе эти письма. Сам определишь, что делать с ними. Я на всякий случай вложил в переплёт блок чистых листов. Снизойдёт озарение, и, может быть, допишешь... Что-то вроде своей летописи современной жизни... Меня скоро, — продолжал Кичигин, словно оправдываясь за сотворённое им служебное нарушение, — переводят на работу в область, в наш головной музей, и рукопись эта, я боюсь, пропадёт совсем...

Тогда Елагин не мог и подумать, что совсем скоро он сделает в старой книге о «Скоморохе» первую запись.

28

Дочь каждый год минимум по три раза приезжала к Елагину в Дольск, предварительно позвонив на редакционный телефон. Внача-

ле — одна. Елагин встречал её на автовокзале, и они ехали на старенькой девятке в его однокомнатную квартиру. Дочь выросла, потом приезжала с подружкой. Они гуляли по городу, купались и загорали на речке. Дольше двух недель гости не выдерживали, начинали скучать и уезжали в свой большой город.

После школы дочь поступила в университет, стала приезжать реже. Однажды, позвонив, сказала, что, если отец не возражает, она навесит его с однокурсником. Елагин не возражал, и дочь приехала с высоким худым парнем, стеснительным и немногословным. Гостили они два дня. Парень — его звали Георгий — спал в кухне на раскладушке. Прощаясь на вокзале, сказал Елагину, что чрезвычайно рад знакомству, при этом на его малоподвижном закрытом лице радость никак не отразилась.

Елагин старался не говорить с дочерью о её матери, хотя какое-то вездливое любопытство назойливо подталкивало его: мол, спроси, что в этом плохого... Елагин сдерживал себя, ждал, когда дочь сама расскажет, пусть не подробно, а так — короткими фразами, по которым Елагин восстановит настоящую жизнь той отлюбленной им женщины.

Так и получилось.

Давно, с первого известия о том, что у него есть дочь и ей уже шесть лет, Елагин подумал о каком-то надломе в жизни Дарьи — той самой Пичугиной. Сообщение о дочери Елагин получил от неё самой, но через посредничество друзей.

Та развелась со своим мужем. Он был комсомольский вожак, в смутные годы организовал кооператив по продаже текстиля. Особенным спросом пользовалась марля. Весь марлевый сбыт он держал в своих руках. У него была кличка Паук. В те годы прибыльная торговля без бандитов не существовала. На Паука наехали другие «пауки». В разборках его ранили, а спустя время посадили на долгий срок, где он и умер, по официальной версии — от «отёка лёгких». Его бизнес перешёл в другие руки.

Будучи кооператором, муж Даши успел купить две квартиры, оформил их на девичью фамилию жены. Трёшку сдавали квартирантам, а в двухкомнатной продолжала жить Даша с дочерью.

В этот период и получил Елагин известие о том, что у него есть дочь.

По срокам совпадало: девочка родилась после их последней новогодней встречи, когда Даша приезжала к Елагину в Дольск...

Она прибыла тридцатого декабря, когда снежная круговерть заволакивала город жёсткой гололёдной дробью вперемешку с мелкими костистыми снежинками. Снег при порывах ветра, едва коснувшись белого земного покрова, метелью шарахался вверх, свинчивался с бесконечными летящими вниз хлопьями.

Елагин встретил Дашу на безлюдном вечернем вокзальчике в центре города. Проходящий автобус высадил её одну, и она стояла совершенно потерянная, держа обеими руками яркую полиэтиленовую сумку. На ней было пальто с воротником из чернобурой лисицы, на голове — высокая меховая шапка. Снежинки набивались в пушистый мех, таяли, Даша сдувала их и сглаживала варежкой мех у шеи.

Это было так знакомо Елагину, что он ощутил на своих губах и подбородке снежную сырошь Дашиного воротника, теплоту её дыхания и нежность расслабленных губ.

Городские автобусы уже закончили свои рейсы, прокатывались по главной улице лишь редкие автомобили.

Они шли по безлюдной ночной улице, и Елагин вдруг ощутил повторяемость этого отрезка жизни. Всё было как много лет назад. Они так же шли по зимним улицам с танцев в большом городе. Он захотел спросить, не напоминает ли что-то эта ночная дорога, наклонился к ней. Но неожиданно в свете редкого фонаря увидел чужое сосредоточенное выражение лица человека, погруженного в себя.

Она посмотрела на Елагина и не улыбнулась, как это было всегда, а уронила взгляд, закрыла лицо варежкой от снежного нахлёста и его глаз.

Что-то незнакомое тревожное происходило с ней. Елагин успокоил себя тем, что давно не встречался с Дашей и у неё в жизни случились свои заботы и тревоги.

За три недели до этой встречи он поговорил с квартирной хозяйкой, сказал, что придет в гости, возможно, его будущая жена, рассказал о Даше.

— Вот и хорошо! — сказала Фаина. — Я к дочке собралась на недельку, а вы и подомовни-

чаете у меня. Надеюсь, ничего не случится с домом? Ты парень надёжный...

По прошествии лет эти три дня и три ночи Елагин обозначил как золотые мгновения жизни. Если через годы их вспоминать, то вытянутся они в долгую цепочку ощущений радости, восторга, трепета, ласк, поцелуев, стонов, наслаждения, шёпота, смеха, откровений, загадок; яви, переходящей в сон, и сна, продолженного явью. Кажется, всего этого — с избытком: с захлёбом, с нехваткой воздуха! Так много, что никогда не кончится, время остановилось... Но нет в прожитой жизни человека долгого отрезка времени, есть миг!

И вот уже тишина в прохладном сонном доме. Апельсиновая кожура на столе, грустная пустоголовая бутылка из-под шампанского на боку. За окнами снежный январь нового года. Даша собирается уезжать.

Елагин, перегруженный счастьем, всё никак не подступит к главному. Он решил: Даша переезжает жить к нему. В этом году ему в райкоме обещали дать квартиру... И вдруг за столом, за утренним чаем — эти слова Даши! Елагин не помнил, как они были произнесены. Словно неожиданно вмазали сбоку: удара не видишь, только вспышка и боль. Даша оставляет работу и уезжает из города домой — на родину, на север. Там больная мать! А приезд к нему — это прощание!

Елагин что-то говорил: время, он будет ждать, мать вылечат... Но уговоры были напрасными.

Он проводил Дашу на вокзал, поцеловал в холодные жёсткие губы. Она уехала в маленьком автобусе с замороженными окнами.

29

Районное радио продолжало вещать три раза в неделю по двадцать минут. Редакция четыре раза меняла помещения. Пять раз сменялись ответственные редакторы. Последний, Токарев, большую часть эфирного времени отдавал рекламе и объявлениям — зарабатывал деньги. Сократили штат редакции — убрали дикторов. Шура Ефимовна ушла на пенсию вслед за Арсением Широковым. Теперь пе-

редачки не печатали на машинке, а тексты читали с руки сами Токарев и Елагин. Для отчёта записывали в толстый журнал только краткое содержание передач.

Токарев неожиданно ушёл из ответственных редакторов и стал одним из руководителей областного отделения партии «Спринтеры России».

В начале выборной кампании к нему обратились агитаторы партии из Москвы. Приехали в редакцию, что-то пообсуждали за закрытой дверью, и Токарев стал рупором партии в Дольске. Он явил собой единство трёх лиц: демократа, монархиста и теперь вот спринтера.

Токарев сколотил районную ячейку партии, в которую вошли молодящиеся бабушки с интеллигентными замашками (те составили ядро организации), два разочаровавшихся коммуниста, а также совершенно беспартийные, которые называли себя таковыми по убеждению, — их было трое. Они попросили не вносить их в общий список, потому что пока поработают наблюдателями. Были два безработных с биржи труда и один инвалид с костылём по фамилии Ефимов.

Широлесов услышал по радио о первом организационном заседании ячейки, пришёл в редакцию и, посмотрев на собравшихся, послушав их жалобы на тяготы жизни и невнятные призывы к изменению жизни, назвал эту разноликость «могучей кучкой».

Широлесов посвятил ячейке такие строки:

*Собрались мы для смены режима,
На морщинистых лицах — подъём!
Только мрачным остался Ефимов,
Угрожая врагам костылём!*

Больше на собрания Широлесов не ходил, но написал прощальное:

*Бегут «Спринтеры России»,
обгоняя всех кругом.*

*Самый прыткий из бегущих
Пётр Ефимов с костылём!*

За три месяца до выборов члены ячейки начали распространять по городу агитационные материалы — газету «Спринтеры России», листовки и плакаты. За эту работу они получали небольшие деньги. В редакции радио обосновался штаб партии. Сюда потянулись люди. Токарев принимал всех. Объяснял идеи и задачи

партии, а в конце разговора хитро вставлял:

— Сумма вашего участия в выборах будет зависеть от количества сагитированных и отдавших свои голоса за нашу партию!

Он так быстро, чётко и загадочно произносил эту фразу, при этом дружески подмигивал пришедшему весёлым выпуклым глазом, что кандидат в партийные списки обнадёживался, прикидывал, кого, кроме родных, он сможет продать на выборах.

Обиделись на Токарева «монархисты» и хотели исключить его из почётных дворян Дольска, но он убедил их в том, что партия «спринтеров» лояльна к монархистам и его участие в выборах принесёт дворянам только пользу.

Демократы же Токареву верили, хотя и не могли понять, где место окончательного приземления его мыслей, когда он крушил здание коммунистического «вчера», а из обломков его не смог слепить даже собачью конуру. Но зато какой демократический грохот стоял от выстулений Токарева!

В канун всенародных выборов центральная площадь Дольска заполнилась горожанами. Флаги и транспаранты с эмблемой партии «Спринтеры России» трепетали в морозном воздухе. Из машин с громкоговорителями неслись патриотические марши. Агитаторы — взбудораженные молодые люди — бегали от одной группы горожан к другой и что-то совали им в руки. Чтобы сократить расстояние, парни бегали через глубокий снег, западая в сугробы выше колен, судорожно выдергивали ноги и сдували пот с лиц.

— Ишь, сайгаки! — сказал, показывая на них, Широлесов. — Взлягивают! Словно гон начался!

«Гон» действительно начался, потому что Широлесова едва не спихнули с тропинки в сугроб три озабоченные женщины. Одна возбуждённо говорила:

— По две банки — в руки! А кому не хватило — по пятисотке давали! Вон их автобус!

Улицу, ведущую на площадь, закупорил автобус в транспарантах и воздушных шариках. Из открытой передней двери молодой мужик в высокой синей шапочке с белыми буквами по фасаду «СР» совал в толпу, прильнувшую к автобусу, железные банки с тушёнкой.

Счастливики, ухватившие добычу, выдёрги-

вались из толпы, разглядывали добычу, говорили удивлённо:

— Гляди-ко, не просроченная!

По пятьсот рублей давали на площади во время митинга сторонников партии. Но это была минутная процедура. Счастливицков оказалось мало.

Пронёсся слух, что где-то в людном месте бесплатно одаривают водкой. Группа мужчин, услышав эту новость, ошалело рыскала по центральной улице. Увидев зелёную «газель» и толпу около неё, спросили у встречного мужика в перевернутой задом наперёд линялой заячьей шапке:

— Там дают водку?!

Тот посмотрел на «газель» и сказал весело:

— Там, а где же ещё!

Мужики втёрлись в толпу, состоящую в основном из женщин; каждому в протянутые руки были вложены банка зелёного горошка и пачка майонеза «Провансаль».

— А где водка?! — с обидой закричали мужики.

— У нас только закуска! — откликнулись из машины.

Мужики матерно подвели итог своим поискам.

Через неделю в городке устроили предвыборный праздник члены другой партии, но, кроме митинга, буклетов и значков, ничем горожан не порадовали. Это отразилось на результатах выборов. Партия «Спринтеры России» заняла в Дольске первое место по числу отданных за неё голосов. Члены городской ячейки получили приличные деньги, а глава дольских «спринтеров», кроме солидного вознаграждения, был приглашён на работу в областное отделение партии.

Елагин остался на радио один. Время вещания сократили. Теперь передачи стали выходить три раза в неделю по десять минут. Основной их были новости: где что произошло, что построено, кто приехал в городок, сколько туристов и откуда. Оставалось время после новостей, и Елагин стал передавать зарисовки о жизни города и горожан.

Новоизбранный глава администрации Дольска, член победившей партии, решил воплотить в жизнь мысль, чудесной самосейкой давно занесённую в его молодую голову, а

именно — окольцевать город подвесной канатной дорогой. В своих размышлениях он воспаялся над городом метров на тридцать и видел натянутые тросы на металлических опорах, охватывающие Дольск по периметру. По высокой дороге катились разноцветные кабинки, в которых виделись главе восторженные мордашки туристов. Восхождение на дорогу начиналось бы на левой стороне заставы, а заканчивалось после круговорота над городом на правой. Здесь будут построены платформы с лестницами, билетная касса, кафе, туалет и всё, что необходимо в таких случаях туристам.

Грандиозность замысла нового главы совершенно поглощала и размывала конкретные, или, как говорят, практические дела, которые необходимо было сделать для воплощения этого замысла. Первое — инженерный проект, второе — главное — деньги.

В городской Дом культуры, место различных ритуальных публичных действий, была создана общественность Дольска. Из нашего социалистического далёка мы знаем, что общественность — «многочисленное скопление людей» — бывает прогрессивной и всякой другой. И эта «другая» уже официально не называется общественностью, её называют: собранием, стихийным сборищем, толпой и тому подобным. Впрочем, в перестроечные годы эти два вида общественности объединили одним синтетически безвкусным словом — «электорат». В нём явно слышалось «электричество» и «ор». Наэлектризованно орущая толпа.

Так вот в Дом культуры на обсуждение замысла главы города и собрался электорат.

Глава рассказал публике о сделанном за короткий срок его главенства. Основное же внимание он уделил будущему города и главному событию в новой истории — строительству подвесной кольцевой дороги.

Раздёрнули внутренний занавес сцены, и перед публикой запестрел яркими красками огромный планшет, на котором над домиками, церквушками, лугами, полянами, речкой трепетала лентой на ветру серебряная окольцовка подвесной дороги.

Электорат в зале обмер. Такого чуда в послеперестроечной истории городка ещё не было.

Глава администрации с указкой в руке фанта-

зировал у планшета. Электорат же не воспринимал смысл его слов. Над головами сидящих в зале летал общий поезд с вагонами и гудящим социалистическим паровозом.

Очнулись собравшиеся только после того, как докладчик закончил свою речь о чуде и предложил задавать ему вопросы.

Зачарованные слушатели, на короткое время забывшие свои житейские заботы и трудности, вдруг прозрели и задали главный вопрос — «зачем». Зачем городку воздушная дорога? Не лучше ли облагородить ухабистые земные дороги Дольска!

Электорат закипал. В зале уже не слушали ответы главы, а начали спорить друг с другом. Сначала — тихо, ровно, а потом зазвучал сплошной нервный крик. Люди, зашедшие в фойе Дома культуры с улицы, слышали оторвавшиеся от общего крика фразы:

- ...А людям что от этой дороги?!
- ...Газу нету, баня не работает!
- ...А больница?! Попади в неё — до смерти залечат!
- ...Вот и будем над городом кружить!
- ...Выбрали дурака — топерь плачь!
- ...О будущем надо думать!
- ...Ты — демократ, ты и думай!
- ...Да какой он демократ?! Он...
- ...Сам ты ж***!
- ...А ты — ...!!!
- Граждане, держите своё лицо!

Представителя прогрессивной общественности толкнул буйный из неорганизованного электората. Упало несколько человек, сломался стул, визгливо вскрикнули женщины.

— Господа! Успокойтесь! — взывал со сцены глава города. — Мы не завтра строить начнём! Мы советуемся с вами!

— Он советуется! — закричал Широлесов, локатором повернув ухо со слуховым аппаратом на сцену и стуча палкой в гулкий пол. — А гондон над городом два года нависал! Такой же сказочник соорудил! Еле убрали...

Дело в том, что председатель исполкома городского совета — при социализме была такая должность, сегодня она называется словом-огрызком «мэр» — для облагораживания жизни горожан и привлечения туристов ре-

шил возвести в городском парке карусель — колесо обозрения, или — по-народному — «чёртово колесо».

Поставили пятидесятиметровую гирлянду с висячими кабинками. На открытии колеса первыми крутнули председателя с исполкомом и депутатами.

— Грандиозно! — сказал председатель после трёх вознесений и приземлений в кабинке карусели. — Город, что называется, предстаёт, возникает...

— Я вот что подумала! — сказала тогда начальница отдела культуры. — А не включить ли нам катание на колесе в программу экскурсий? И познавательность, и отдых, и окупаемость...

Исполком и депутаты дружно поддержали предложение культурной начальницы, и катание на колесе обозрения стало обязательным для организованных туристов.

С этого момента появилась в Дольске первая общегородская песня. Были в ней такие слова: «Но ты помнишь, как с тобой по весне мы на чёртовом крутились колесе...» Пел её выдающийся баритон из двух репродукторов на столбах, поставленных в противоположных краях парка. Песня разливалась, как только колесо с туристами в кабинках, будто цепляясь за горизонт, начинало медленно буксовать в голубом летнем небе. В воскресенье и праздничные дни эта песня примерно раз по тридцать обволакивала горожан. Слышимость была далёкая, голос певца достигал окраин. Слова шлягера вдавливались в уши, и скоро большинство жителей городка знали его наизусть.

Три летних сезона крутилось и пело колесо с туристами. В середине четвертого начало капризничать. Колесо вдруг охватывала скрипучая дрожь, оно то замедляло вращение, то убыстряло. Туристы пугались, женщины и дети кричали. В конце лета колесо крутнулось два раза, заскрипело пронзительным электрическим скрипом и остановилось. В верхней кабине засыпал вместе с женой и семилетней дочерью корреспондент центральной газеты. Часа через два их вызволили из заточения, а через месяц появился в главной газете страны фельетон под заголовком «В тисках железного монстра» — о том, как уникальную архитектуру города убивают бездумные новоделы.

В те времена на критику в центральной прессе реагировали мгновенно. Карусель постановили убрать. Осенью разобрали только половину колеса, а другая гигантской дугой согнулась над парком и стала ждать своей участи до следующего сезона. Ополовиненное колесо напоминало горожанам фантастического зверя, особенно — в лунные ночи. Учитель естествознания, собирая с учениками в парке гербарий, произнёс, показывая на гнутый каркас:

— Игуанодон! — и добавил, обращаясь к ученикам: — Похож! Не правда ли, ребята?

Школьники согласились с учителем.

Слово выпорхнуло оперившимся птенцом, затрепетало вольной жизнью. Облетев городок, творчески переработалось, опростилось для лёгкости произношения и стало «гондоном». Так по-современному называли горожане доисторического зверя из учебника «Естествознание», памятник которому неосознанно появился в Дольске.

«Зверя» окончательно убрали из парка через два года после его появления, уже при очередном хозяине города, а тот за счёт половины колеса выполнил два годовых плана по сдаче металлолома.

На собрании в Доме культуры обо всём том и напомнил новому городскому главе ветеран Широлесов, стуча палкой в пол.

А летом бульдозеры разровняли площадку на городской заставе, вкопали по обеим сторонам дороги четыре бетонных столба метров по пятнадцать в высоту и стали обкладывать эти столбы кирпичом. Отсюда, по замыслу фантазёров, и должны были возноситься туристы над городом и плыть по висячей дороге, радуясь свежему ветру перемен, опавшему наконец-то затхлую провинцию.

Но дальше столбов дело не двинулось. Коллективное письмо «прогрессивной общественности» Дольска попало на стол губернатора. (Это тоже перестроечное понятие: губернии нет, а губернатор есть!) Губернатором была в то время женщина мужиковатого вида: приземистая, широкая, насупленная. Говорила коротко, часто грубо, в глаза собеседнику не смотрела, а как бы оглядывала пространство вокруг того, с кем говорила, словно пыта-

лась определить — есть ли какое свечение вокруг него. А если не обнаруживала, то не церемонилась с собеседником.

Свечения она не увидела и вокруг главы Дольска, вызванного ею по письму горожан.

— Вы что там, рехнулись! Канатные дороги строите! Денег много?! — угрожающе спросила она и продолжила: — У вас туалетов нет для туристов! В кусты ходят!

Глава города пытался объяснить:

— Перспектива... план такой... туристы... спонсоры... престиж... окупаемость...

Но губернаторша побагровела и, перебивая мэра, так же невнятно кричала:

— Немедленно прекратите! Морочите голову людям! Это ж надо додуматься?! Эльбрус! Канатная дорога! Кунаки! Вас назначили, а вы Кавказ строите!

Так была разрушена мечта мэра-фантазёра.

На четыре столба у заставы повесили два огромных рекламных щита. На одном — план города с церквями, монастырями, гостиницами. На другом — красавица в кокошнике и с караваном на расшитом полотенце хлебосольно встречает гостей.

Через два года мэра переизбрали, и подвесная дорога осталась лишь в памяти горожан.

Но тяга к вознесению над землей у дольцев оказалась неистребима. Она зарождалась в атмосфере городка совершенно необъяснимо. Может быть, благодаря просторному небу и чистому воздуху! Ведь необъяснимо, почему веками рос в дольской земле лучший на Руси хрен, который поставляли на стол царям.

Следующий глава Дольска организовал в городе ежегодный слёт воздухоплателей, и теперь каждое лето гигантские пузыри разноцветных воздушных шаров отрывались от заповедного луга и плавали над городом.

Воздухоплатели катали местных на воздушных шарах. Очередь полетать была нескончаема. По четыре человека садились в корзину и кружились над городом. Летали на шарах в основном дети и молодежь, но и среднелетки, бывало, покупали билеты и с замиранием сердца оглядывали местность с высоты птиц.

В любом возрасте присуща людям тяга к полётам. В землю все уйдём, а над землёй побывать не всем доведётся. Только дети летают во

снах. Говорят, так они растут. А ещё дети во снах падают в пропасти и летят, замирая в страхе, а едва достигнув дна, просыпаются и лежат, наслаждаясь счастьем чудесного избавления от навязанной сном фантастической реальности.

Тяга к полётам приводит людей в парашютные школы. В первом прыжке сквозь мокрую резь в глазах от шершавого воздуха начинает яснеть и приближаться серо-зелёная клочкастая земля. На миг охватывает ужас от невозвратности и неостановимости падения. Но только на миг теряешься в необъятности и бездонности поднебесья. В следующее мгновение слышишь рвущийся треск и тряпичное полоскание за спиной и — рывок тела вверх. Бледно-жёлтый купол парашюта отделяет тебя от неба и плавно сносит через лес и речку на луг. Потягивая стропами, словно вожжами, направляешь приземление на родную мягкую долгожданную землю. Стравив парашют, ложишься навзничь, и через короткое время, как наваждение, хочется повторить прыжок, опять ощутить страх и радость полёта, счастье от неминуемого осязания земли под ногами... Это значит, что в организм окончательно и бесповоротно проник неизлечимый теперь вирус полёта.

Такой вирус угнездился и в организме коренного жителя Дольска Степана Хитрованова, причём давно — ещё в детстве. После школы Степан хотел стать лётчиком, но медкомиссия нашла в здоровье изъян, и лётное училище стало для него закрытым. На призывной комиссии Степан попросил направить его служить в лётные части, и его определили в такой полк, где он получил специальность техника. Здесь его впервые «покатали» на самолёте. Он ощутил небо: летел, земля скользила под ним. Оно поднимало, опускало и покручивало воздушное судно. Степан хлебнул счастья, какого до сих пор не испытывал. Он ещё раз попытался стать курсантом лётного училища, но приговор был окончательным: с таким изъяном в здоровье лётным техником быть можно, а лётчиком — нет!

После армии он обслуживал воздушные машины в аэропорту большого города, летал

пассажиром на «кукурузниках». Потом устал от каждодневных поездок в соседний большой город, обосновался в родном Дольске.

С приходом нового времени, помыкавшись на разных обслуживающих работах, он наконец нашёл свою лунку — стал торговать сувенирами. Сначала — улично, навынос, потом расширился: оборудовал лавку, магазин, второй...

И — купил мечту! Параплан! Эти назойливыми шмелями гудящие аппаратики стали появляться на небе вблизи больших городов. Заражённые небом летуны в мотоциклетных шлемах сидели в гордом напряжении в своих хлипких креслах и взирали на отринутую ими землю. Как всё мелко и мелочно там, внизу! Упорядоченно разграниченные ломтики земли. Дома, машины, люди, букашками ползущие по дорогам и копошащиеся в своих огородах. Мелочными и ничего не значащими казались и взаимоотношения этих людей. Там, внизу, ругайтесь, любите, разводите склоки, считайте деньги, пейте водку, бейте друг друга, делайте детей, воспитывайте их, копайте землю, воруйте! Сюда же, на километровые поднебесные высоты, где жужжит в ветренном одиночестве перепончатокрылый аппарат, все эти земные страсти не доходят.

Наверно, так и думал Степан Хитрованов, кружа в родном дольском небе. А ещё его распирала гордость от того, что он единственный из горожан может себе позволить в любое время подняться над городом и взирать на его суть сверху.

Степан купил мощный армейский бинокль и стал разглядывать земное обустройство в неопознанном до сих пор ракурсе. Особенно интересно смотреть на людей в огородах. Как они согбенно копали гряды весной, пололи сорняки летом, убирали картошку осенью. Всё это было обыденно знакомо Степану. А сейчас сверху — неожиданно, а потому интересно, словно на уроке биологии в школе разглядывание в микроскоп крохотного жучка, который в увеличении превратился в чудовище с мощной челюстью, шершавой шишкастой шкурой и волосатыми шарнирными лапами.

Степан направлял свой аппарат на восходя-

щие струи воздуха, и тот плавно отрывался от видимого круга земли. Границы этого круга расширялись, появлялись доселе невидимые далёкие окольные строения, а знакомая окрестность города умельчалась, скручивалась в огромную воронку и словно отворачивалась от Степана в бессилии догнать его. У Степана перехватывало дух. Он, как грибник в незнакомом лесу, боялся потеряться. Выходил из возносящего воздушного потока, снижался до непугающей его высоты и так же ровно, плавно кружил над огородком.

Одного такого воспарения ему хватало примерно на неделю, как русскому мужику омошение в бане по субботам: тут тебе и напруг, и расслабление.

Вскоре Степан решил наполнить прогулочные полёты некоторыми экспериментами. Он захотел узнать, с какой высоты достигнет земли струя воды с парашюта. Степан попросил приятеля-огородника Володю Чичагова поучаствовать в его опыте.

Степан набрал в две полторалитровые пластиковые бутылки воды, поднялся в небо и, пролетая над огородом приятеля, с высоты в километр опрокинул одну за другой бутылки. Струйки воды, расплющиваясь по воздуху в тонкие прозрачные лезвия, скользнули к земле.

— Ну, чего? — спросил Степан приятеля после приземления.

— Не! — ответил Чичагов. — Даже не оросило!

— Надо ёмкость побольше, — сказал Степан.

— Испарилась вода...

В очередной полёт он наполнил десятилитровую пластиковую бутылку. Поставил её в ноги. С полукруга он пошёл в плавное снижение на огород Володи Чичагова. Держа руль правой рукой, он начал загодя отвинчивать крышку на посудине... Как вырвалась пластиковая бутылка из сжатых коленей Степана, он не смог объяснить. Только ёмкость с водой невесомо скользнула вниз за три огорода от Володи Чичагова. Степан скошенным глазом, уводя парашюта вверх и в сторону, увидел прозрачную болванку, несущуюся в незнакомый огород с блестящими на солнце теплицами. Хитрованов похолодел в испуге от промелькнувших в голове возможных последствий, сотворённых падением этой водя-

ной бомбы, и не увидел, как бутылка пронзила покатуку крышу теплицы, ударилась о дорожку между двух тепличных грядок и взорвалась, окатив прохладной водой супругов Безверховых — хозяев огорода. Они в четыре руки подвязывали в теплице огуречные плети к высокому парашюту, радуясь густому цветению огурцов...

Безверхов бежал из теплицы внагиб, отмахивая длинными скачками огородный метраж. Безверхова, крича на одной тонкой пронзительной ноте, петляла по огороду — интуитивно боялась затоптать грядки. Спотыкаясь, она припадала на руки, пружинисто вскакивала, догоняла мужа.

А Володя Чичагов, задрав голову, готовился к водяному орошению небритого лица и не понял, отчего это парашюта вильнул вверх и скрылся за линию обозрения.

После приземления, подъезжая к дому Чичагова, Степан увидел милицескую машину у калитки Безверховых. Приятель сидел на лавочке и курил.

— Что там случилось? — спросил Степан в тревожном предчувствии.

— Опять разборки с соседом, — отмахнулся Чичагов. — У них давняя вражда: то землю делят, то жён... А сейчас обвинил соседа в том, что он на его теплицу бутылку с водой бросил. Милицию вызвал, разбираются! Пойдём глянем...

Во дворе соседа слышались крики и женский плач.

Два мужика, разделённые участковым, кричали друг на друга. Участковый, молодой лейтенант, невозмутимо писал что-то в раскрытую кожаную папку.

— Вот свидетель! — закричал Безверхов, увидев Чичагова. — Он сосед, знает, какие каверзы строит мне этот утконос! — показывал на ошарашенного, ничего не понимающего соседа по огороду. — Он же мог убить и меня, и жену! — Пострадавший держал в руке сплюснутые в лепёшку остатки пластиковой бутылки. — Это ж силища какая! Полтеплицы разворотил! Жена в истерике!

— А ваша фамилия? — не обращая внимания на крики Безверхова, спросил участковый подозреваемого соседа.

– Фамильнов...

– Я спрашиваю вашу фамилию! – усилил голос участковый.

– А я и отвечаю – Фамильнов!

– Интересно, как в анекдоте... – улыбнулся страж порядка.

– Никакого анекдота тут нет! – возмущился обвиняемый. – Тут несправедливый оговор! А вы, я вижу, верите! Я буду писать вашему начальству – пусть экспертизу проводят! Вон в телевизоре по сопле преступника находят!

Лейтенант посмурнел. Сказал, оглядев подошедших мужиков:

– А сейчас мы осмотрим место происшествия со свидетелями! – и записал в них Володю Чичагова и Степана Хитрованова.

– Вон, вон дырина какая в теплице! – кричал, забегая перед идущими в огород, потерпевший Безверхов. – Жена – полные штаны! А если бы её по темечку?! Я рядом был! Чудом избежал! У плеча свистнуло! Маненько в сторону, и лежал бы сейчас – пипирка набок! Неизвестно ещё, какая жидель была в бутылке! Может, отравы?!

Дыра в теплице была абсолютно круглой формы, словно циркулем вырезана.

Участковый – не зря юридический институт окончил – сказал потерпевшему:

– У вас есть десятилитровые бутылки? Налейте-ка парочку да принесите нам!

Безверхов, матерясь и сморкаясь через палец, принёс две бутылки.

– А теперь, гражданин Фамильнов, швырните бутылку вон на ту непорченную теплицу! – сказал участковый.

– Да вы что?! – закричал обиженный Безверхов. – Издеваетесь! И так какой убыток! Он и вторую покалечит!

– Ладно, тогда я сам, смотрите! – Участковый поднял бутылку за пластиковую ручку, потрогал пробку – завинчена, подошёл к теплице и метров с трёх, раскачав бутылку в обеих руках, швырнул ёмкость на крышу теплицы. Туго выгнутая пластиковая спина теплицы оттолкнула бутылку, и та скатилась на землю, не повредив ни себя, ни постройку. – Что и требовалось доказать! – сказал участковый. – Будем ещё эксперименты проводить, гражданин Безверхов?

– Дак он сам дыру вырезал, а на меня свалил! – закричал Фамильнов. – Ах ты, паскуда! – он кинулся на Безверхова, но участковый преградил ему дорогу. С другой стороны Безверхова заслонили Хитрованов и Чичагов.

Рванувшись несколько раз друг к другу, поматерившись, соседи наконец успокоились.

– Предлагаю вам мировое соглашение, – сказал участковый. – Гражданин Безверхов заяву отзывает. Гражданин Фамильнов в свою очередь снимает все претензии к соседу!

Безверхов покапризничал, поплевал под ноги, поглядел на небо и на теплицы, махнул рукой:

– Ладно, отзываю! – сказал он. – Только кто бомбанул меня? Объясните!

– Не всё в природе можно объяснить, – сказал Чичагов и выразительно посмотрел на Хитрованова.

Они-то знали тайну возникновения дыры в теплице Безверхова, но инстинкт самосохранения говорил им: «Молчите!» Тем более тяжёлых последствий не случилось.

Безверхов залатал отверстие в теплице. Его вьедливый мозг ещё долго точила кусачая мысль, что всё-таки сосед образовал в его теплице злополучную дыру. Но как он мог сделать её ясным днём и с дальнего расстояния? Объяснение было за гранью разумного.

Разрешил его сомнения в отношении соседа сын – студент политехнического института. Он обследовал теплицу и смятую лепёху бутылки, по формулам высчитал, с какой высоты можно пробить такую дыру в теплице и какие усилия приложить, чтобы расплющить бутылку. Вывод сына поразил отца. На высоту более двух километров надо поднять десятилитровую бутылку с водой, чтобы совершить такие последствия.

С этого момента, работая в огороде, Безверховы, проколотые какой-то неожиданной мыслью, суетливо поднимали лица вверх: приглядывались и прислушивались, но небо было тихо и чисто.

Степан Хитрованов летал теперь по околицам, высотные эксперименты больше не ставил.

Однажды на пике восторга от полёта он почувствовал, что теряет сознание, в груди сдавило, тело облепил пот. Кое-как приземлив-

шись и доехав с полей до дома, он вызвал врача, и она определила у него сердечный приступ. Он долго лежал в больнице. При выписке врачи запретили ему не только летать, но и поднимать даже небольшие тяжести. Он на свой страх и риск сделал прощальный круг над городом и продал свой параплан заражённому небом из соседней области. Степан знал наверняка, что не прилетит новый владелец его параплана в дольское небо и не разбередит его душу.

Так закончилась история первого и последнего в городке воздухолётика.

30

Человек, живущий на земле, должен строить в душе своей Белый город и заселять его дорогими ему людьми. В центре города на зелёной площади должен стоять светлый дом, в открытом окне сияет доброе лицо матери, а дальше на расходящихся лучами улицах в разноликости и разноголосице живут те, кого встретил, узнал и полюбил человек за многолетие своей жизни. В городе этом должны быть собраны дома и домики, увиденные и природнённые человеком из деревень, сёл и других мест. Должны журчать речки, шуметь морские волны, летать стрекозы и птицы. И просёлочная дорога с валками невесомой пыли должна уводить на заливные луга. И первый поцелуй... И пробуждение летним утром в лесу, в сенном сарае, когда сквозь щели в разошедшихся брёвнах протискиваются колкие лучики жёлтого солнца... И ощущение неизбывного запаса будущего счастья, в котором ты пребываешь сейчас и которое будет всегда, потому что запас его, по твоим ощущениям, неизмеримо огромен и вечен... И аромат цветов, и пролёт тёплого ветра, и пролиз мокрого языка собаки по лицу, и зелёные шуристые глаза любимой кошки, следящие за тобой сверху из-под застрехи старого родового дома, и ливни, омывающие изумрудные сады... Все эти нанизанные на тонкую ниточку памяти кругляшики счастливых минут, часов, дней... Только счастье должно жить в Белом городе, чтобы человек в минуты бед и несчастий мог уходить туда, скрывать-

ся, пережить невзгоды, словно грешник за воротами монастыря, отмаливая грехи, очищая душу и укрепляясь для продолжения отмеренного земного пути. И покидать эту жизнь человек должен с мыслями о том, что он уходит в свой Белый город, и ждут его там дорогие ему счастливые люди, и он будет с ними вечно.

Мысль о Белом городе пришла к Елагину после пережитого им состояния на берегу речки под стеной монастыря, когда прошлое вдруг подступило так близко и осязаемо. А ещё не давала покоя вошедшая в память прочитанная им музейная рукопись. Соединилась она с наваждением — падением во снах белого камня и с постоянным мучением от бессилия прочитать слова, выбитые на нём.

Теперь камень снился не часто, и однажды Елагин, засыпая, вдруг совершенно ясно понял, что если камень прилетит сегодня ночью, то он прочитает надпись на его шершавом боку. И камень прилетел! Из фиолетового исколотого пушистыми точками жёлтых звёзд неба, увеличиваясь, неровно крутясь, летела на Елагина белая глыба. Ударит — расплющит! Но перед самым лицом камень завис, словно резиновый надутыш, и, покачиваясь, стал поворачиваться, показывать грани. На одной, лицевой, самой широкой и гладкой, прочитал Елагин долгожданную надпись, начертанную округлыми буквами: «Белый город!»

Счастливым Елагин обнял камень и полетел, словно тогда, давно, ввинченный в смерч. Он понимал: тогда была реальность, а сейчас — сон, и поэтому не испугался. Возносясь, он увидел далёкий город, и камень полетел к высококим шпилям, куполам и крышам. Елагин летел над городом — узнавал и не узнавал его. Он пытался сосредоточиться на секунду в явленном ему месте, но возникало другое, третье, десятое — всё промелькивало и уносило прочь.

Камень выскользнул из-под Елагина и улетел в звёздную бездну. Елагин, словно осенний лист по воздушному желобу, плавно падал на город. И когда центральная площадь городка стала подставлять свою перепончато-булыжную спину, Елагин вдруг осознал, что если он — пусть хоть во сне — упадёт на эти сизые

булыжники, то разобьётся в лепёшку. Он раскинул руки, пытаясь остановить падение, задохнулся в восторженном страхе и, дёрнувшись всем телом, проснулся.

Елагин лежал в счастливом ощущении конца мучительного сновидения. Он прочитал надпись! И теперь мозг не будет воскрешать камень! Но зудяще скреблась мысль: «Что начинают слова на этой явленной ему скрижали?» Говорят, во снах приходят откровения и предсказания, надо только правильно истолковывать эти сны. И тут Елагина прострелило: сегодня Благовещение! Сон в ночь на Благовещение! Ведь в итоге все эти приметы сводятся к одному таинству — рождению и смерти человека. Приход из ниоткуда и уход в никуда! Откуда я? И куда я? Вопросы эти возникают у каждого неожиданно и ошарашивают своей безответной простотой.

Елагин искал ответа на эти вопросы в святоотеческих книгах. Он стал ходить на службы в храм, пытался соблюдать посты. На него глядели лики с намоленных икон. Но не доходили эти взоры до души. Единственно, что стал чувствовать Елагин в храме — успокоение, словно тяжёлое облачко рассеивалось и чистый покой держал душу на лёгких ладонях.

31

В среду утром Елагину позвонила секретарь главы района и чётким отрепетированным голосом пригласила на беседу с новоизбранным хозяином:

— В пятницу, в четырнадцать часов. Не опаздывайте! — сказала она.

«Что бы это значило? — подумал Елагин. — Знакомиться? Но мы знакомы». Елагин встретился с главой района на различных бюрократических мероприятиях, записывал его выступления и давал в эфир.

Угрюмого вида глава района Михаил Матвеевич Мозговой, член партии «Спринтеры России», любитель классической музыки, песен Высоцкого, зарубежной фантастики и пельменей собственного приготовления, исподлобья смотрел на Елагина.

Помещение, где сидел Мозговой, в социализме принадлежало первому секретарю райкома партии. Тогда кабинет был скромен до бедности: широкий стол с зелёной бархатной серединой, низкое кресло, три телефона на столе, типовой тяжеломраморный письменный прибор и настольная лампа с абажуром. Сейчас же Мозговой сидел в импортном кожаном кресле с высокой регулируемой спинкой. Стол боковыми плоскостями заползал почти за спину главы. На окнах — плотные стеклопакеты, вдобавок зарешёченные с улицы. На полу настелены широкие ковровые дорожки с плотным, мягко подминающимся под шагами ворсом.

Здание администрации тоже сильно изменилось, особенно внутри. Сейчас уже не суетились, как раньше, из кабинета в кабинет бывшие райкомовские работники: инструкторы, завотделами, парторги с мест. Не стрекотали спетым кузнечиковым хором электрические печатные машинки в кабинете с табличкой «Машбюро». Стояла абсолютная тишина.

Кабинеты уплотнились. В них уже сидело не по два-три человека, а по четыре-шесть, и у каждого на столе стоял включённый компьютер. Висели кондиционеры, и раз в неделю по пятницам ходили по кабинетам женщины с баулами — парфюмерные коробейницы. Они приносили импортные кремы, губную помаду, духи, спреи, от их пробных запахов стоял по пятницам в кабинетах густой иностранный дух.

Несмотря на уплотнение кабинетов, мест для новообразованных служб не хватало, и тогда надстроили третий этаж. Так же плотно там засели в кабинетах женщины, голубым рабочим светом засветились мониторы, и пятничный запах спреев за клубился по надстроенному этажу.

Сводки, отчёты, планы, прогнозы, доклады — всё это создавалось в кабинетах с полной серьёзностью и ответственностью. Называлось такое действие чиновничьей работой.

А ещё в кабинетах принимали людей. Слово «принимали» в этом случае было какое-то расплывчатое, желеобразное. В больницах принимают больных. В родильном отделении принимают роды. Принимают гостей. Прини-

мают ванную. Принимают на грудь. Во всех этих случаях за словом «принимают» стоит мягкость, ласковость, сопереживание, сердобольность. Впрочем, слово «сердобольность» вышло из употребления, как и понятие, стоящее за ним.

Для чиновных кабинетов более подошло бы слово «встречали». В этом слове есть неожиданность, потому что на ваш робкий стук и приоткрытую дверь из кабинета может выплеснуться фраза: «Вы что, не видите, я занята!» Это когда чиновница, напряжённо сидящая за компьютером, не успевает убрать с экрана гальтельные карты, и бубновая дама недовольно зыркнет на посетителя трафаретными глазами. А ещё вас могут осчастливить фразами: «Вас много, а я одна!», «Вот когда сядете на моё место, тогда и будете учить!», «Вы думаете, что вы один такой умный?», «Когда надо, тогда и позову!» Есть и более свободные фразы, которые могут себе позволить чиновницы со стажем: «Подождёте — не развалитесь!», «Вы десятый раз приходите и всё недовольны!», «Вас никто не заставлял столько детей рожать!», «Идите жалуйтесь — к нам и придёте». И в завершение — с обидой в компьютер: «Вот придёт такое говно и на весь день настроение испортит!»

Вся эта отрицательная энергия дозированно передается посетителям и уносится за стены здания. Остаток её невидимым сгустком висит в кабинетах. За ночь он теряет свою силу, распадается, словно туман в низинах от свежего ветерка, а на следующий трудовой день вырабатывается вновь.

Чтобы нейтрализовать вредную чиновничью неожиданность, необходимо иметь ошарашивающую встречную неожиданность.

Таким видом неожиданности обладал Максим Фёдорович Спицын — бывший учитель истории в сельхозтехникуме, а ныне — пенсионер и заводчик мясопухомолочных коз, как он озвучивал свою теперешнюю деятельность.

Спицын коз не разводил, а давал им жизнь при помощи козла. У него был уникальный племенной козёл: огромный, лохматый, с длинной бородой и рогами и с удивительной прозрачности голубыми глазами. Добрая мол-

ва о спицынском козле прочно держалась в районе. К нему водили козочек из окрестных селений. Он безотказно сеял здоровое потомство и зарабатывал хозяину ощутимую прибыль. «На пенсию сейчас не проживёшь, — говорил Максим Фёдорович. — Я состою на денежном довольствии козла». Имя у козла было традиционное для провинции — Яшка. Кроме своего прямого назначения, козёл участвовал в некоторых оригинальных действиях своего хозяина.

Спицын своеобразно относился к многочисленным туристическим группам, рассеянно бродившим по тихим улочкам города в послеобеденное время.

Из окон дома Максима Фёдоровича открывался вид на гостиницу под названием «Турцентр» и старый оборонительный вал древнего города. В утренние часы низкозадые дальневосточные азиаты шустрили коротенькими ножками по густотравному с цветочками валу. Они вращали руконожными суставчиками, по восточномедицинской науке дозированно вдыхали вязкий приреченский воздух приплюснутыми носиками, и в их безразличных глазах иногда возникали чувства. Это могли быть японцы, вьетнамцы, корейцы, но Спицын объединил их одним словом — «китайцы». К ним он относился равнодушно. Ходят? Ну и... пусть ходят!

Раздражение у Спицына вызывали немцы. «Генетическая память», — говорил он. Отец и старший брат Спицына не вернулись с войны, и он хватил голодного детского лихолетья. «Радуюсь! Оккупанты по нашим улицам ходят! Побратимы?! Мне не нужны такие побратимы! Кто меня спросил?!» — кричал он на уличных беседах с соседями. И те дружно поддакивали Спицыну.

Дело в том, что Дольск в перестроечные годы объявили побратимом какого-то заштатного немецкого городка, и общественность того городка (видимо, тоже, как и у нас, прогрессивная) начала собирать «гуманитарную помощь». Группы побратимов привозили эту помощь в Дольск и раздавали особо, на их взгляд, нуждающимся.

Большого стыда и оскорбления Спицын не испытывал. Он воспринял это как личную

обиду, причём сознательно организованную немцами — нате, мол, вам, победители! Обноски из Европы и по двести марок в конвертиках! А когда он узнал, что такой конвертик получил и Ефимов, ветеран с его улицы, Спицын задохнулся в патриотическом негодовании.

— Медальки-то нацепил, когда конвертик от немцев принял? — спросил язвительно у Ефимова. — Кланялся низко! Освободитель!

— Ты не бесчинствуй! — отвечал Ефимов, опираясь на металлическую клюшку.

По необходимости, в присутственные места он ходил с костылём, а по своей улице прогуливался с клюшкой и не так болезненно припадал на протез. Спицын заметил это и называл выходы Ефимова «мизансценами». По тому, какое приспособление в руках соседа, Спицын определял конечную цель его движения.

— Не бесчинствуй! Топерь другое время. С немцами у нас дружба! — заметил Ефимов.

— У кого это — «у нас»?! — усилил голос Спицын. — У меня нет дружбы! Меня не прикупишь обносками с марками!

— Теперешние немцы пороху-то и не нюхали! Они за прошлое винятся, за дедов своих.

— Ах, они винятся! — распаялся Спицын. — Откупаются, стало быть?! А ты бы попросил немцев ногу себе сделать. Говорят, они ноги-то лучше натуральных делают, да костыли с подбросом, чтобы ты воробьём скакал! Хоть ты и заслуженный инвалид, а по разуму-то как мой Яшка! В новую партию зачем приковылял? Ты же вроде коммунистом был? Льготу искать?!

— Опять бесчинствуешь! — начинал закипать и Ефимов. — Какую льготу?! Я всегда — за правду!

— За правду он! — восклицал Спицын. — Твоя правда двести марок стоит да штаны с мёртвого немца в придачу! Нехороший ты ветеран, нечестный! — подводил итог Спицын.

Такие перепалки возникали у них после каждого приезда немецких «гуманитариев» в город. Случалось это два раза в год: на Рождество и Девятое мая...

В летний полдень Спицын решил освободить свою тихую зелёную улицу от немцев. Эта мысль пришла в его голову после долгих раз-

мышлений о зигзагах послевоенной истории. Размышления были подпитаны сухим вином, которое продавалось в Рядах, как молоко, — в картонных коробках.

Спицын потягивал его за забором своего дома, и в его исторические мысли назойливо влезла с улицы немецкая речь. Он глянул в калитку. На улицу входила медлительная толпа расслабленных немцев. Они разглядывали дома, фотографировали резные наличники на окнах, поленицы дров и наполовину вкопанные в землю облысевшие покрышки от грузовых машин — запрет на подъезд к дому.

«Экзотику ищут! — сварливо куснула мысль Спицына. — Сейчас я вам подпущу экзотики...»

Козёл Яшка, кроме своей лохматости и полюбморочной вонючести, имел ещё одну особенность: освобождённый от привязи, он гонялся за незнакомыми людьми на улице.

Яшка пасся на лужайке в огороде. Спицын притянул его к воротам, убрал с шеи верёвку и, когда немецкая группа приблизилась к дому, приоткрыл ворота. Козёл обрадованно скакнул в притвор. Увидев разноцветное многолюдье, замер на секунду в каком-то своём козлином размышлении. Его скучающие голубые глаза начали озорно синеть. Несколько секунд он выбирал взглядом человека для первого наскока. Выбрал полного немца в белых брюках и розовой футболке. Мотнув бородой, Яшка прыгнул на месте с задних ног на передние, заблеял отрывистым хриплым бульком, нагнул голову, выставил вперед короткими пиками бурые с янтарными прожилками рога — побежал, вцелившись в широкий зад туриста. Крики и визги встряхнули улицу. Немец от удара пал на руки, оглянулся и, вытаращив глаза, не в силах кричать от ужаса, шустро пополз на четвереньках за ближайшие кусты у дома напротив. Яшка не стал добивать лежащего, он кинулся на молодую немку в короткой юбке, зацепил рогом подол и располоснул юбку до бесстыже забелевших трусов.

Группа распалась на одиночек и, словно напуганная стая бабочек от шального ветра на лугу, затрепыхалась к началу улицы.

Спицын вышел из ворот, крикнул козлу, и Яшка, виновато мотая головой и тряся лох-

мотями слипшейся шерсти, подошёл к хозяину. Они скрылись за воротами.

Немец, не шелохнувшись, скорчился за кустами. Когда ворота за чудовищем и его хозяином закрылись, он приподнялся и, не разгибаясь, побежал за товарищами по несчастью, прищёптывая: «Майн готт... майн готт...»

На следующий день по жалобе из экскурсионного бюро пришёл участковый — бывший ученик Спицына.

— «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..» — звонким голосом, смеясь, запел участковый. — Помните, Максим Фёдорович, начало урока по Великой Отечественной? Баян ещё звучит?

— Звучит, Саша, да только оккупанты победили... — и Спицын рассказал о своих печалях.

Уроки истории в техникуме Спицын начинал неожиданно. Он приходил в аудиторию с баяном. Писал на доске тему урока, брал баян и приятным глуховатым голосом пел песни той поры. Русско-японская война: «Плещут холодные волны, бьются о берег морской...» Гражданская: «Дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону...» Отечественная: «Вставай, страна огромная...» Любую историческую тему Спицын привязывал к песням. И поэтому бывшие учащиеся, встречаясь с ним, говорили: «Мы ваши уроки до сих пор помним. Только песню услышим — и хоть сейчас к доске...»

— Вы уж как-нибудь своего козелка привязывайте, — виновато говорил участковый. — Жалуются! Иностранцы, что с них взять...

— Ты, Саша, скажи там: пусть немцев на мою улицу не водят, а то у меня козёл на их речь бешеным делается, любые верёвки рвёт!

Они поняли друг друга. С этих пор немецкие туристы на улицу, где жил Спицын, не заходили.

Страшную вонючесть козла Спицын тоже использовал в повседневной жизни.

В сарае, рядом с хлевом, где жил Яшка, на стене висели полушубок и лёгкая куртка Спицына. Зимой, направляясь в администрацию за какой-либо справкой или с жалобами — на горкомхоз (не чистят от снега улицу), электросеть (часто отключают свет) — Спицын надевал полушубок. С неспешной солидностью шёл по улицам, здороваясь примерно с каждым вторым встречным. Морозный воздух

усиливал козлий запах от полушубка. Спицын был запечатан в этот запах, словно в кокон. Горожане, зная о козле, не удивлялись, а только говорили за глаза с легким упрёком: «Неужели нельзя чем-нибудь прыснуть на себя! Ведь на люди идёт».

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Спицын распахивал полушубок, и от плотной жёлтой овчины запах, казалось, отходил неиссякаемым туманным испарением. Пятничками заграничные спреи, шипящими фонтанчиками брызгавшие в кабинетах, не могли заглушить козлий дух. Наоборот, мешанина в баллончиках, стравливаясь с первородным животным запахом, рождала новую парфюмерную композицию — тошнотворно-сладкую, от которой першило в горле, тошнило, а у некоторых женщин слезились глаза, на щеках выступали аллергические пятна и поднималось давление.

Спицын заходил в нужный кабинет, и... ему давались любые обещания, заверения, консультации, мгновенно вышвыривались из компьютера справки и ставились печати. Он, солидно сидя на стуле, вникал, переспрашивал, неспешно уходя, говорил: «Если что не так, я к вам снова приду...»

Как только дверь за Спицыным закрывалась, женщины включали на полную мощь кондиционер, и холодный воздух минут двадцать выволакивал козлий дух на улицу. Что говорили при этом простые провинциальные служащие — лучше не повторять.

Если надобность в посещении администрации возникала при тёплой погоде, то Спицын надевал лёгкую куртку. Сила духа от куртки была слабее, но эффект тот же.

Запах Спицына на втором этаже администрации Елагин уловил сразу.

Максим Фёдорович часто появлялся на радио. Его выступления были связаны с памятными датами Великой Отечественной войны. Он садился к микрофону в студии и без шпиргалки наговаривал минут на десять. Спицын знал подробности войсковых операций, имена военачальников, а его размеренный глуховатый голос привлекал слушателей.

После администрации Спицын заходил в ре-

дакцию радио и, хитро посмеиваясь, говорил:

— Маленько приглушил тараканов... Вот сейчас меня, наверное, костерят! — Это он о посещении кабинетов, и — Елагину: — Ты в обморок, надеюсь, не упадёшь? Козлиный запах — он профилактический. Я где-то читал, что в козлиных шкурах обряд проводили, «очищением» назывался. И в конюшнях козлов держали от зверьков таких — ласок. Они у лошадей ноги прокусывали, кровь пили, а козлиного запаха пугались.

Наверное, об обряде Спицын придумал. Елагин не обижался на него, всегда с удовольствием слушал и записывал на плёнку его рассказы.

Секретарь главы, глядя за спину Елагину, спросила тревожно:

— Ушёл Спицын?

— В коридоре его нет, — ответил Елагин. — Но присутствие ощущается...

— Он просто издевается над нами! — подхватила женщина. — Сколько раз жаловались Михаилу Матвеевичу! А нельзя не пускать — жалобами забросает! Однажды я не пустила его к главе, так он в Москву такую жалобу сочинил — еле отмылись! Сейчас доложу о вас...

Исподлобья смотрел на вошедшего Михаил Матвеевич Мозговой...

Елагин почему-то вспомнил слова Спицына об очистительном козлином обряде и не мог сдержать улыбку, глядя на маскировочно-театральную насупленность главы района.

Говорил Мозговой невнятно, отрывисто вышвыривая слова. Иногда предложение начиналось с середины, и надо было интуитивно восстановить начало, чтобы понять смысл сказанного.

Смысл пятиминутной речи Мозгового уложился в одну минуту: работу радио решено приостановить, так как колокольня монастыря, на верхней площадке которой был размещён усилитель, принимающий сигнал и рассеивающий его по районным радиоточкам, возвращается церкви и служители культа на этой площадке будут вешать колокола. «Реституция, одним словом!» Слово «реституция» глава произнёс так, что было непонятно, оправдался он или ругнулся. А денег

на современное радиооборудование в бюджете района нет...

Так завершилась шестидесятилетняя история дольского радио.

На жизнь горожан это никак не повлияло. Правда, несколько человек, встретив Елагина на улице, спросили: «Что-то наше радио перестало работать?» Получив ответ, не удивлялись, а обречённо подводили итог: «Теперь все верующими стали, хоть и с чертями раньше якшались. Скоро весь город попом отдадут...»

Весь город не отдали, но монастыри стали осваивать молодые насельники. Монахи и монахини сели за руль джипов и «газелей». Жизнь ускорялась и неслась неведомо куда.

32

Двери храма были отворены. У входа стоял автобус, рядом — несколько разрозненных людей, они отстранённо молчали. На паперти прислонился к стене деревянный крест.

В овальной рамке Елагин увидел едва узнаваемое лицо молодого Широлесова. Чубатое, щекастое, белозубая улыбка сощурила озорные глаза. Посмотри с минуту не отрываясь, — и подмигнёт тебе Широлесов внезапно ожившим глазом, потом сотворит проказливое четверостишие и дня три будет декламировать его каждому знакомому горожанину, а знакомых у него — полгорода.

Священник отпевал усопшего. На костистом лице Широлесова встопорчилась пепельно-серая щетина. Из жёлтого, словно пластмассового, уха торчал слуховой аппарат.

— Воля усопшего, — шепнула Елагину заплаканная Фаина, бывшая квартирная хозяйка Сергея, протягивая ему зажжённую свечку. — Говорил перед смертью: «В гроб с аппаратом положите, а то ничего не услышу».

Широлесов был последним из того давнего литературного кружка «Перезвон». Друзья-литераторы умирали незаметно. Их уход обозначался скромным квадратным некрологом в конце четвертой полосы газеты «Дольская новь».

Автора «Чёрного тигра» Семёна Польского стубил трубочный дым, разевший лёгкие.

Поэта Вадима Кольчугина убила мизерная пенсия, которую ему назначило так почитаемое им государство. Когда Кольчугин получил в окошке пенсионную книжку и, раскрыв её, увидел циферки суммы, он похолодел и решил переспросить сотрудиницу:

— Э-э-э... — начал он с обычного предисловия.

Но женщина «при исполнении» непонятливо оборвала его:

— Гражданин, не задерживайте, люди ждут!

Кольчугин вышел в лёгком туманце.

Дома он долго рассматривал цифры. Сумма в его глазах то увеличивалась, то уменьшалась. Иногда ему казалось, что в конце появлялся нолик. А когда от долгого разглядывания там появилось два нолика, кто-то стукнул ему в голову изнутри, и Кольчугин упал со стула на ковёр.

Пришедшая с улицы жена обнаружила мужа лежащим на полу. Он прижимал к груди пенсионную книжку и перекошенным ртом пытался что-то сказать: «Э-э-э...»

Через две недели Кольчугин умер.

Отпеваемый ныне Широлесов написал тогда о Кольчугине, как он выразился, «надгробные стихи»:

*Он умер, как поэт, упавши навзничь,
Свободную минуту улучив.
Полвека он работал честно,
Ни разу в жизни пенсию не получив!
Он ждал, когда наступит отдых.
Он ждал законных денег от страны!
Но получил в итоге ровно столько,
Чтоб закрепить на поясе штаны!*

Растворились в болотистом дольском жизненном пространстве и другие поэты-кружковцы.

Утром по дороге в редакцию у Дома культуры Елагин увидел толпу молодых людей. Они стояли у свежей афиши, издали яркой, с портретами-медальонами столичных знаменитостей: артистов, спортсменов, космонавтов. Броская надпись: «Приглашаем на аукцион! Только один день в Дольске! Продажа личных вещей! Нижнее бельё «примадонны» (стринги, бюстгалтеры, рейтузы). Туфли и страусиные перья «короля» эстрады. Парик и стёга-

ный лиф «императрицы» эстрады. Хромовые сапоги и галифе Глеба Жеглова. Фуражка и ремень с португеей Владимира Шарапова. Любимые духи Маньки Облигации. Футбольные мячи и хоккейные шайбы с полей чемпионатов мира и Европы. Теннисные шары первого президента России. Еда космонавтов: тубы с борщём, рагу, компотом. И другие раритеты! А также уникальные комплексные лекарства от самых распространенных болезней!»

Но более всего привлекли внимание Елагина строки: «Только у нас! В свободной продаже обувь: непарная, одиночка, правая-левая (сапог, туфля, тапка, кроссовок, кеда, босноножка, галоша). Мужские и женские. Отечественного производства. Высокого качества. Невероятно низкая цена!»

Не все жители Дольска знали, что такое аукцион. Те, кто знал, объяснили несведущим: кто больше даст — тот и купит.

В Дом культуры тянулись люди. В фойе пришедшим выдавали большие картонные таблички с цифрами.

В назначенный час двери в зал открылись, и начинающие привыкать к ошарашкам, бьющим по оседлой предсказуемой жизни, дольцы увидели на освещённой сцене пластмассовые манекены в рост человека: две женщины и три мужика.

Одна искусственная женщина была коренастая и широкобёдрая. Одета в розовый бюстгалтер и трусы, на изготовление которых ушло метр тесьмы и клочок ткани. На втором женском манекене был седой парик крупной завивки, оранжевые рейтузы до колен и стёганный бюстгалтер (видимо, тот самый «лиф» с афиши).

Пластмассовые мужики словно шагнули из всенародно любимого фильма, правда, по какой-то причине не успели полностью одеться: на Шарапове были только фуражка и ремень с португеей, а Жеглов успел натянуть тёмно-синие галифе и хромовые сапоги с голенищами в гармошку.

Лица манекенов были пусто-безразличными. Они тянули вперёд тонкие руки, словно просили публику Христа ради одолжить им недостающую одежду.

Дольцы часто ходили на выставки-распро-

дажи в Дом культуры и к этому представлению отнесли как к очередной такой, где можно купить дешёвые обиходные вещи: бельё, полотенца, обувь, куртки, «конфискат» и прочее. Только сегодня распродажа будет с концертом и даже викториной, иначе зачем выдали им эти картонки с цифрами?

Ведущая аукциона, женщина в джинсах в обтяжку, разболтанно двигая выпуклым телом, в микрофон рассказала об аукционе:

— Каждая представляемая для продажи вещь называется лотом! — голосом учительницы начальных классов сказала она. — Предлагаем первый лот — нижнее бельё примадонны!

Два дюжих паренька шустро выскочили из-за кулис, подхватили коренастую пластмассовую бабёнку и выдвинули её из общего ряда вперёд, на край сцены.

— Уникальное нижнее бельё фирмы... — ведущая назвала зарубежного изготовителя, о котором в Дольске слухом не слыхивали. — В бутиках Европы стоимость комплекта такого белья доходит до... — озвучила сумму, за которую в городском магазине «Одежда» можно было купить две приличные шубы.

Молодёжь уже знала слово «бутик», занесённое к нам вместе с другим словесным мусором из дальних стран, а у зрелых горожан слово это слепилось с понятием «бут» — щёбёнка, битый кирпич и всякая другая строительная ерунда, которую засыпают и плотно утрамбовывают в траншеи перед заливкой цементом. «Видимо, бутиками за границей называют какие-то лабазы, забитые такой дрянью, которая там никому не нужна, а нам навязывают мошенники по диким ценам!» — примерно так мыслили зрелые горожане, много раз уже обманутые новым временем.

— Кто предложит цену?! — восклицала ведущая. — Мужчины, вы сделаете незабываемый подарок своим любимым! Поднимайте таблички! Смелее!

Мужчины, оглушённые ценой, не поддавались на призыв. И вдруг из третьего ряда робко высунулась табличка.

— Так, один есть! Он покупает бельё! Но у нас аукцион, кто даст бóльшую сумму?!

Рука с табличкой затрепыхалась, голос её владельца пояснил:

— Я не покупать! Я только спросить!

— Спрашивайте! — недовольно разрешила ведущая.

— А это... трусишки с лифчиком — ношенные?!

— Бельё новое, неношеное! Это бренд, который носит «примадонна»!

— Нет, такой бред нам не подходит! — покупатель опустил табличку и сел.

Сколько ни взывала распорядитель аукциона к чувствам публики, сколько ни говорила о тенденциях в европейской и мировой моде, сколько ни убеждала невозмутимо сидящих на своих стульях горожан в том, как горько пожалуют они, что не купили столь «эсклюзивные раритеты», руки с табличками больше не поднимались.

Не поднялись таблички на лот с фуражкой и ремнями Шарапова, а галифе и сапоги Жеглова отвергли по очень простой причине — её озвучил мужской голос из середины зала:

— Сейчас такое не носят! А копать гряды в суконных штанах — хозяйство вспотеет!

Были подвергнуты сокрушительному неприятию и другие вещи с придуманной родословной. Парик «императрицы» назвали молчалкой. Стёганым лифом можно «кастрюли накрывать». Засомневались в теннисных шарах первого президента России, не поверили и в питание покорителей космоса.

Ведущая, ощутив провал аукциона, растерялась и начала беспорядочно предлагать купить хоть что-нибудь. Но публика потеряла всякий интерес к торгу и тонкими струйками через три двери стала вытекать из зала.

В фойе уже стояли узкие столы. На них были разложены коробочки и бутылочки с чудодейственными лекарствами. Ещё одна молодая женщина, в белом халате и шапочке с красным крестиком, таким же, как и та, на сцене, учительски поставленным голосом предлагала купить лекарства от сердечных и глазных болезней, простатита и мужского бессилия, суставных и печёночных болей.

На это дольцы среагировали. Они покупали баночки с мазями невероятной целительной силы — две по цене одной, флакончики с возвращающими зрение каплями — четыре упаковки на курс, бутылочки с тягуче-маслянис-

тыми бальзамами угольно-чёрного цвета, в составе которых неслыханные растения и минералы. Красочное оформление этих лекарственных обманок у большинства горожан вызывало доверие. Видимо, конечная цель аукциона и была в том, чтобы продать как можно больше целительных эликсиров. Это организаторам удалось: лекарства были раскуплены.

«Непарная» обувь была тоже выставлена в фойе на раскладных столах. Сапоги, туфли, тапочки... Из строя выбивались глянцево-чёрные литые галоши с подкладкой из красной фланели. Они в первом ряду генералами смотрели на покупателей. Такие галоши только при внимательном осмотре можно было разделить на правую и левую.

Дольцы брали пары одноногих галош размера на два больше своего привычного. Эту универсальную обувь можно было напялить на валенки или, сунув ноги в красную фланель, скользить по огороду в сырость. Впрочем, за невероятно низкую цену горожане брали и другую обувь на одну ногу: за галошами ушли со стола домашние тапочки, босоножки. Нашли покупателя и женские сапоги, видимо, из-за кожаных голенищ и дефицитных молний.

— Может, в следующий раз привезёте обувь и на другие ноги? — спрашивали покупатели, мечтая по столь низким ценам осчастливить и вторую конечность.

— Может, и привезём, — отвечали невозмутимые продавцы. — На фабрике новое оборудование осваивают. Если ошибутся ещё на одну ногу, то привезём.

Елагин сидел в зале до завершения торгов. Он должен был написать материал в газету «Дольская новь» о первом в городе публичном аукционе. Такое задание он получил от редактора после того, как глава района обещал ему «трудоустройство по специальности» и направил в газету.

И Елагин написал фельетон в форме письма другу из провинции. В нём он с восторгом говорил об одноногой обуви и нижнем белье публичных людей. Такие новаторские аукционы должны осчастливить глухую провинцию и поднять благосостояние людей на новый уровень...

Редактор — чрезвычайно осторожный, оглядистый человек — фельетон не принял, попросил переписать его. Елагин отказался.

33

В субботу Елагин поехал к дочери в Иваново.

Первое, во что упёрся взгляд, когда он по прибытии вышел на привокзальную площадку, — длинная голубая перетяжка, на которой глазасто краснела высокими буквами надпись: «Приглашаем на гей-парад!» Под этим длинным полотнищем на щите из пятислойной фанеры таращился большой красочный плакат, который и объяснял приглашение: «В воскресенье в парке «им. рабочего Ф. Зиновьева» состоится гей-карнавал. Участвуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, а также из дальнего и ближнего зарубежья. В программе под девизом «Мы тоже любим» — красочное шествие, спортивные соревнования, конкурсы и викторины однополых семей. На интеллектуальной площадке парка состоится беседа на тему «Преимущество однополых браков перед другими видами семейных союзов». Кульминация праздника — большой концерт мастеров отечественной эстрады!»

Елагин в очередной раз почувствовал в себе тот самый временной сдвиг, впервые пришедший к нему под стенами старого города. Но тогда старинное время придвинулось и стало близким, сейчас же с ним случился скачок в какую-то постыдную боковую запредельность, явленную сейчас вот этой гранью обыденной реальности. И это в городе его юности! С разорёнными ныне заводами и фабриками! В них оборудовали склады, базы и магазины оптовой торговли. В городе, где есть его школа номер тридцать один, в которой в большом классе на первом этаже, за третьей партией от двери, теперь уже навечно сидит его первая влюблённость — девочка с тонким лицом и холодными длинными пальчиками на узких кистях. Елагин давно уже поселил её в своем Белом городе.

— Ты чего! Из этих, что ли? — услышал Ела-

гин за спиной голос с местной нагловатой интонацией. Повернулся.

Щетинистый, запалённый похмельем лик с блестящими глазами. Мужик примерно одного возраста с Елагиным, состаренный безмерным питьём. Видимо, осознав, что с такой внешностью Елагин не может быть «из этих», мужик с рассудительной озабоченностью высказал наболевшее:

— Ты прикинь, а? Нашествие! Дожили! Говорят, они в Европе давно. Теперь вот к нам приплыли!

«Не может быть, — думал Елагин. — Не может быть, чтобы городские власти разрешили этот карнавал. Какая-то чертовщина!»

Мужичок словно прочитал мысли Елагина:

— Теперь за бабки всё можно. Прикинь, сколько денег отвалили?! Если сосневские парни узнают об этих ... — а они узнают — будет бойня! — говорил взбаламученный собеседник.

Сосневские — самая многочисленная и организованная молодёжная группа в городе.

— Давно эти афиши? — спросил Елагин.

— Вчера не было, я весь день у вокзала рысачил! — ответил мужичок.

Люди останавливались у афиши, читали. Некоторые сплёвывали и возмущались. Но большинство равнодушно проходили мимо.

Вдруг с боковой улицы, выходящей на привокзальную площадь, послышался монистовый звон множества колокольчиков и, неспешно раскидывая мосластые ноги, вышагнул на площадь верблюд. На нём между двух горбов с вялыми обвисшими макушками в разноцветном ковровом седле восседал рыжий курносый «бедуин» в инородно скошенной на затылок бейсболке. На изогнутой шее высокомерно и презрительно глядящего на окружающий мир верблюда висели гирлянды колокольчиков, они и переливались тонким звоном. «Бедуин» в зелёных шароварах, кроссовках и белой футболке с изображением на груди мохнатой головы то ли латиноамериканского борца за независимость, то ли неизвестного широкой публике музыканта, держал в руках повод и слегка подёргивал им.

За первым верблюдом выплыл на площадь второй, такой же бурый, гнутый и презритель-

ный. На нём сидела женщина, тоже в шароварах, блестящей кофточке из разновеликих ремешков и в лифчике из полупрозрачной ткани.

За верблюдами железнодорожными цистернами выкатились три слона. Их вели на коротких поводках погонщики. Слоны упорно не глядели по сторонам, не реагировали на машины и зевак. Они безразлично хвост в хвост шли неведомой им дорогой в назначенное место. На выпученных слоновьих боках висели афиши: «Цирк зверей! Атракционы экзотических животных! Слоны, верблюды, тигры, львы, пантеры! Только месяц в вашем городе!»

— Цирк зажигает огни... — сказал не отходящий от Елагина похмельный мужик. — Фабрики стоят, а веселья прибавляется!

— До цирка через весь город зверям шагать, — сказал Елагин.

— Да ты чего! — возмутился мужик от неосведомленности Елагина. — Новый цирк отгрохали рядом, за «Ашугом»!

«Ашуг», огромный сетевой магазин, четырёхэтажной башней возвышался метрах в пятистах от вокзальной площади.

— Там такое шапито сейчас! — продолжал скороговорить мужик. — А рядом — бордель. На шесте голые бабы крутятся. Безработных девчонок много, симпатичных на шест отбирают, вот они ляжками и елозят перед мужиками... Тут такой приколы: когда открыли этот шушерон, слухи пошли. Ветераны рейд затеяли. У них в организации ещё сохранились те, кто революцию делал. Вечером явились на представление. Им хозяин заведения все документы выкатил: вот, мол, всё по закону, лицензии, медсправки, смотрите...

Неожиданно мужик замолчал: мысль, исподволь точившая его с утра, высоковольтно пробила его сознание, заглушила все другие мысли и желания, кроме одного, жизненно важного. Он и выдохнул почти с мольбой:

— Выручи, а?! В «Ашуге» — портвешок «три семёрки». Хмызнем по стакашку! Только у меня денег — голый вассер... Ты сам из каких мест? — спросил походя — так, для более доверительного сближения — мужичок.

— Я — сосневский! — сказал Елагин.

— Иди ты! — своеобразно удивился мужичок. — Кого из наших пацанов знаешь?

— Многих знаю, — ответил Елагин и назвал несколько фамилий.

— Ну, ты, блин, тихарило! — с восторгом выкрикнул мужик. — Так ведь Шурик мой друган был. Мы с ним в художке учились. — «Художка» — известное в городе художественное училище, которое окончил друг Елагина. — При коммунистах мы по колхозам калымили: оформляли красные уголки, наглядная агитация... такие бабки имели! — Восторг быстро иссяк, и мужичок опять с мольбой глянул в лицо Елагину: — Меня Вальком зовут, каждый знает. Выручи! Всего колотит... Не помереть бы, а?

Елагин протянул пятисотку. Валёк от неожиданного счастья обмер, загнипотизированно смотрел на купюру, потом с какой-то наэлектризованной быстротой выдернул бумажку из рук Елагина и, словно оправдываясь, сказал:

— Ну, ты это... без дураков! Я сейчас сдачу приволоку. Вон «Ашуг», пойдём...

Елагин в магазин не пошёл, остался ждать у афиши.

Валёк вернулся быстро. Радостно сообщил:

— Нормалёк! Пузырь есть и коровятинки — на закусью... — (Конфеты «Коровка» в пластиковой упаковке.) — Держи сдачу! — Отдал Елагину три аккуратно расправленные сотенные купюры. — Пошли крикнем по глоточку! — Валёк показал на переулок за магазином.

— Командуй сам, — сказал Елагин. — Мне нельзя, я зашитый...

Он знал этот постепенный тягучий заход в пьянку, когда после первого сладкого взрыва в мозгах начинается алчное поглощение алкоголя для того, чтобы «держать кайф». Потом наступает беспмятство и послесонное похмельное терзание, которое бывает «хуже смерти», — его испытал всякий хоть раз перепивший человек, не говоря уже о безмерно пьющих.

Елагину всего нескольких перепоев за жизнь хватило, чтобы понять это и остановиться. В пьющих компаниях он «знал меру»: или вообще не выпивал, или глоток-другой — и всё.

Валёк нисколько не обиделся, он только сказал уважительно:

— Ну, ты молоток! — А когда осознал, что

он остаётся единственным распорядителем бутылки, то просиял, словно от награды, сгрыз жёлтыми боковыми зубами пластиковую пробку с бутылки и хватнул три сытых глотка вина.

Действительно, рядом с цирком, куда только что завели верблюдов и слонов, округлилось заведение, названное спутником Елагина «борделем».

Солидная большая афиша у входа оповещала горожан о прелестях программы «только для взрослых». Ниже — красавица в трико обвила ножкой шест и в воздушном полёте раскинула руки.

Валёк, возвращённый к жизни портвейном, глядя на афишу, мечтательно сказал:

— Билет туда дорогой до невозможности: пару пузырей стоит, а так сходил бы...

— Гулять так гулять! — неожиданно сказал Елагин, поддаваясь внезапно пришедшей стихии праздника. — Пошли! Только спрячь бутылку...

Касса прилепилась к заведению сбоку.

Валёк забил скусанную пробку в горлышко бутылки, сунул её в боковой карман тонкой замызганной курточки. От тяжести его фигура перекосилась: одно плечо стало выше другого. По такому искажению тела определяли опытные мужики счастливого с «бомбой» бормотухи в кармане. Это было время, когда водку давали по талонам, а дешёвое креплёное вино «выбрасывали» в магазинах.

Кассир — парень с двумя малыми колечками в бровях и большим — в левом ухе, бледный и напряжённый, — спросил:

— Вам на первый сеанс или на второй? — пояснил: — Продолжительность каждого по двадцать минут.

Валёк с печалью в глазах смотрел, как Елагин вынимал деньги из кошелька, а когда он протянул их кассиру, даже отвернулся, чтобы не страдать дальше.

По деревянным ступенькам-временкам они поднялись на узкую тускло освещённую галерею. В фанерной стене светлыми прорезами зияли окна-иллюминаторы. По периметру их было тридцать два. Ровно столько мужчин прошло на галерею и встали каждый около своего окна. По команде из динамика

мужчины нырнули в иллюминаторы. Для этого нужно было согнуться примерно на половину корпуса.

Елагин тоже сунул голову в окно.

В центре круглой арены торчал блестящий шест. Тридцать две головы, вытаращив шестьдесят четыре глаза, оглядывали арену, шест и друг друга.

Слева от Елагина хихикал Валёк, двигая щетинистым ликом. Его тонкая шея могла свободно перемещаться в оконном проёме.

В назначенный час замельтешили над ареной световые пятна. Грохочущая дроблёная музыка сменилась тихозвонным вальсом, арена залилась голубым прозрачным светом. На несколько секунд он погас, в крошечной темноте слышно было шмыгание носом и покрякивание сухим горлом. Голубой свет вспыхнул, у шеста возникла изящная женщина в скромных по размеру трусиках и лифчике. Она одной рукой держалась за шест, вторую подняла над головой, крутнулась вокруг опоры, приглашая зрителей к созерцанию. Проекторы с трёх сторон обхватили танцовщицу лучами. Она начала вращаться, изгибаться, опускаясь на пол — то медленно и плавно, а то судорожными рывками.

Елагину показалось, что это не холодный свет обливает женщину, а сжигающий, и женщина бьётся на шесте в палящих муках. В последнем судорожном витке танцовщица сорвала с себя лифчик. Затем — крошечная тьма — свет — и её нет у шеста.

По арене в балетных прыжках скачут две девушки в зелёных комбинезонах и полумасках. В руках у них кривые сабли. Они со свистом рубят воздух, постукивают клинком о клинок. Несколько минут бесновались на арене девицы с саблями. И снова погас свет.

— Ну, мужики, попали! — обречённо сказал Валёк. Он обращался к Елагину, но услышали все.

— Да нет... это ж представление... официальное... — откликнулась только одна голова.

— Заснимут на пленку, как ты на баб слюни пускал, — вклинилась в разговор третья. — Пришлют на работу и жене! Вот и доказывай, что всё официально...

Снова свет ярче прежнего. На арене — огром-

ная женщина в белом до плеч парике, на лице — полумаска. Из одежды — кожаные стринги и невероятной вместимости бюстгальтер. На ногах — коньки, по четыре ролика на каждом.

— Ну, блин, атас... — просипел Валёк.

Женщина, аккуратно перебирая толстыми ногами, медленно прокатилась по кругу, чуть-чуть не касаясь тяжёлой ляжкой мужских голов. Головы загнипнотизированно глядели на проплывающее перед ними естество.

— Вот это тухляк! — ошарашенно крикнул Валёк.

Когда всё действие закончилось, мужики, стыдась глядеть друг на друга, гуськом топорливо выходили с галереи, вытирая лица платками.

— Пойдём выпьем! — предложил Елагин. — Только не твоего пойла...

— Кто бы против, а я всегда за! — повеселел Валёк.

В магазине «Ашуг» Елагин купил две бутылки водки с пшеничным полем на этикетке и закуску.

Валёк повёл Елагина в глухое место недалеко от вокзала.

Здесь, на пустыре, после сноса частных домов ещё остались яблони, вишни, кусты смородины. Из полугнилого тёса и расчленённых картонных коробок была оборудована беседка. На обломанные ветки мёртвой вишни были надеты мутные гранёные стаканы. Пахло гнилыми яблоками, мочой и ещё смесью обыкновенных для таких мест запахов из хлеба, колбасы, кильки, огурцов, помидоров. Рассольно-пивной дух нешелохнуто стоял на площадке.

— Не прими за пьянку, прими за лечение! — видимо, желая обмануть своего ангела-хранителя, произнёс Валёк первый тост и опрокинул треть стакана в щетинистый рот.

«Может, не надо?» — тихо спросил Елагина и его ангел-хранитель, когда он подносил стакан к губам. Но было уже поздно. Водка обрушилась внутрь и взорвалась...

Дальше жизнь Елагина раздробилась на кадры-картинки. Он говорил Вальку о своём городе и дочери, о смерче и чёрной тетради, о разбойнике Фильке и отце Павле...

Валёк перебивал его и кричал, что он худож-

ник и писал картины, но сейчас художники не нужны, а нужны голые ****!

— Это не мой город! — кричал Елагин. — Я его пережил! Он умер!

Они пили и говорили, не слушая друг друга.

Валёк уходил, и появлялись новые бутылки. Возникли новые люди. Они тоже пили и говорили. А потом — чёрный провал.

Очнулся Елагин от жуткого холода. Он лежал на одной расплющенной картонной коробке и был прикрыт другой. На нём не было куртки — только белая футболка, не было и кроссовок, из джинсов выдернут новый кожаный ремень.

Занимался тёплый летний день. Где-то там, за деревьями, гудели машины, слышались редкие голоса людей.

Елагин свернулся с лежака, что-то скользнуло и упало с его живота. Кошелёк! Денег в нём не было, но лежали паспорт и военный билет. Видно, грабители жили «по понятиям». Елагин, отдёргивая ноги от острых камешков и сухих веток, пошёл на шум машин. Так и попал на автовокзал.

На уличных часах была половина шестого. У платформ стояло несколько автобусов с табличками. Разглядывая их, Елагин увидел родное слово «Дольск — ...» И — бывают в жизни счастливые совпадения! — знакомый водитель протирает губкой окна в автобусе. Он увидел Елагина, понял, что случилось, махнул ему рукой. Елагин начал было рассказывать, но шофёр перебил:

— Всё понятно, не переживай. У меня рейс через сорок минут. Садись в автобус и дремли...

Шофёр принёс из кабины бутылку воды и ношенные кеды:

— Может, подойдут! И водички попей, а в шесть вокзал откроют — в туалете умоешься. Этот город бандитский. Рот разевать нельзя. Хорошо, что не покалечили, — говорил водитель.

Когда Елагин стал рассказывать о борделе, шофёр подозрительно поглядел на него и сказал, что цирк за «Ашугом» есть, а борделя нет, мол, он точно знает, потому что каждый раз, приезжая в Иваново, закупает в этом магазине продукты. И про геев он ничего не слышал — мужики бы рассказали. А тут — парад!

— Ты, друг, вчера перебрал! — подвёл итог шофёр.

Елагин ехал в полупустом автобусе. Тяжело было на душе, муторно. Неужели вправду приснился этот бордель, собутыльник Валёк... В голове Елагина сами собой возникли строки любимого поэта Николая Заболоцкого:

*Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтание,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.*

Но ведь было же это всё в нём, как вознесение в смерче и ощущение жизни в древнем городе... Ехал он к дочери, но словно нечистая сила перекрыла путь к ней и её матери.

Проснулся он поздно вечером на своем диване. Елагин не заметил, как проспал этот жаркий день. Из открытого окна тянуло назревающим к ночи холодком.

Он в своём городе, в своём доме, в своём мире. Он никого не хочет видеть, ни с кем не хочет разговаривать.словно скинул с себя тяжёлый груз, который принудили его нести за обещание счастья там, впереди. И он понёс его, а когда донёс и освободился от гнёта, то не стал ждать обещанного счастья, а вернулся обратно, к началу этой дороги, и только здесь почувствовал, что он спокоен, свободен и счастлив.

Дочь позвонила вечером. У неё был странный голос. Таким обычно успокаивают или подготавливают к неприятному известию, которое в конце концов прозвучит, как только звонивший поймёт, что момент настал.

— Я не приехал, — говорил Елагин. — Не смог... Дела... Но приеду, возможно, через неделю...

— Только предупреди, когда приедешь, — говорила дочь. — Я сейчас живу не с мамой... Может быть, я к тебе приеду... с другом познакомлю... Мы решили пожениться...

— Мама знает? — нехорошее предчувствие

шевельнулось в нём. Елагин принял известие о замужестве дочери со спокойной обречённостью: время пришло. Но почему она не говорит о матери? — Я позвоню маме... — обронил он.

— Не надо, папа, не звони! — незнакомо жёстко сказала дочь. — Она с очередным другом уехала на море! Прости, папа...

Странно, но в тот момент Елагин не почувствовал ни огорчения, ни отчаяния.

Он несколько раз за последний год доставал чёрную тетрадь, открывал чистые страницы, вживлённые в старый переплёт Кичигиным, брал ручку и застывал в неожиданном нервическом возбуждении. Подводил ручку к листу бумаги с желанием написать первую букву, слово, фразу... Но не писалось. Из души не шла энергия. Слово в испорченном светильнике заменяешь лампочку, патрон, выключатель, а света нет — прервано что-то более важное, его нужно найти, соединить — и хлынет свет.

Елагин вновь открывал первую страницу тетради и перечитывал повествование о скomorохе Фоке, разбойнике и чернеце Фильке, о каменных дел мастере Иване. А когда заканчивал чтение, то чувствовал усталость, желание писать пропадало. Он убирал тетрадь и жил дальше.

После смерти последнего ивановского друга Елагин открыл чёрную тетрадь и на чистом листе на едином вдохе начал писать: «Смерч зародился на небе на сшибке двух воздушных армий...»

Павел Леонидович ПАРАМОНОВ

родился в 1949 году в с. Подолец Гаврило-Посадского района

Ивановской области.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, журналист.

Автор книг: «Огородники» (1985),

«Урок музыки» (1986),

«Повести» (1991), «Души летящие» (2010).

В журнале «Север» публикуется с 1984 года.

Член Союза писателей России.

Живет в Суздале.

